



Владимир Орлов

Лягушки

ФТМ



Владимир Викторович Орлов

Лягушки

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2553205
Лягушки / Владимир Орлов: ФТМ; Москва; 2017
ISBN 978-5-4467-2600-4

Аннотация

«Лягушки» – новый роман классика современной литературы Владимира Орлова, в котором автор со свойственным ему тонким психологизмом через сатиру показал реалии нашей жизни.

Содержание

1	4
2	22
3	40
4	52
5	65
6	82
7	100
8	105
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Владимир Орлов

Лягушки

1

У Ковригина кончилось пиво. Надо было идти в палатку.

Палатка торговала вблизи автобусных остановок на обочине асфальтового пролета, ведущего со станции Столбовая мимо сумасшедших домов в селе Троицком, известных в России как «Белые столбы», к поселку Добрыниха. Прежде Ковригин легким шагом добирался до палатки минут за восемь-десять, нынче ноги побаливали, и на дорогу за колбасами, свиной шейкой, макаронами, рисом, сахаром-песком, кильками в томате и пивом уходило у него все пятнадцать минут. И это – туда, порожняком. Увы, увы...

Сегодня же странное обстоятельство вынудило его провести в путешествии к палатке полчаса с лишним.

Впрочем, странным это обстоятельство могло показаться лишь для Ковригина и для людей, сходных с ним натурой, несведущим и неразумным. Для людей же, знакомых с естественными науками, с портретом Дарвина на школьной стене, с сачками и гербариями, в юные годы посчитавших себя натуралистами, ныне – «зелеными», никакой странности не случилось.

Шел дождь, оставлявший пузыри в лужах. Ковригин натянул резиновые сапоги. Почти все лето они стояли без дела. Солнце позволяло Ковригину шляться в кроссовках, сандалиях, а то и босиком. Но неделю назад небесные влаги стали изливаться из серо-синеватых облаков, не давая ни себе, ни сухопутным существам продыху.

Хотя физиологические потребности звали Ковригина в незамедлительный поход, будто сегодня же по исторической нужде требовалось взять Азов, из дома выйти он никак не мог. Что-то останавливало и беспокоило его. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты... Зудело в нем это отчаянным стрелком в траве сентябрьского кузнеца. «Что надеть-то?..» – не спеша соображал Ковригин. Хотя знал, что надеть. Зонтов он в доме не имел. Его коронным номером было терять зонты и перчатки. Перчатки обязательно с одной руки. А потому в московской квартире среди барахла у него валялось с десятков кожаных изделий с леворастопыренными пальцами. Зонты же он оставлял где-нибудь дней через пять после их приобретения. То есть в персонажи «мокрых» ксилографий Хиросиге с видами Киото и Эдо он не годился. И сейчас он знал, что наденет куртку с капюшоном. И вот будто бы в чем-то сомневался. Придурь некая будто бы наехала на него. «А работает ли палатка? Сентябрь ведь, школьники уехали... Вдруг торгаши засачковали?..»

Именно придурь. При нынешних-то коммерческих интересах хозяев вряд ли бы они закрыли палатку. Да хоть бы и

закрыли. Увидев это, Ковригин вскочил бы в первый подъехавший автобус и отправился бы за пивом на станцию Столбовую или в Троицкое. Там процветали теперь свои «Алые паруса» и свои «Перекрестки». Что же он оттягивал поход? Что кочевряжился? Из-за предчувствия. Ну если и не из-за предчувствия, то из-за малопонятных беспокойств и ощущений тоски.

И все же он запер дом и калитку. И пошел.

Треть дороги проходила по въездной улице огородно-садоводческого товарищества. Самосвалами на нее были сброшены кузова щебенки, пока необглаженной погодами и ногами и не вмятой в землю. В сухие дни тут бранились пенсионеры, награжденные подагрой, а собаки, пусть и самые скандальные, старались сюда не забегать, берегли лапы. В мокрый же день передвигаться к воротам поселка Ковригину было комфортно, он не спешил, продавщица Люся, если, конечно, она приехала из Чехова со своей виллы, закрыла бы палатку лишь через полтора часа. Да и Люсе можно было бы достучаться и в закрытую дверь. Обаянием и наглостью балаболов из мастеровых и водителей, способных продавщицу и облапить, Ковригин не обладал, но и рохлей не был, умел вызывать симпатии у obsługi.

Все эти пустяковые подробности путешествия Ковригина я привожу здесь по той причине, что несколькими часами позже Ковригин примется вспоминать все пройденные им сантиметры и эту щебенку возле поселковых ворот и водо-

качки в рассуждении, а не тогда ли все и началось? Нет, не тогда.

За металлическими воротами поселка, на створках которых раскачивались ребятишки, не доросшие до угнетающих семейные бюджеты занятий в школах и лицеях и вынужденные мокнуть в сентябре в компаниях бабушек и их соседей, шла опять же заваленная щебенкой, здесь – вмятой колесами во вспаханное поле, «трасса» с выездом на шоссе далеко к востоку от палатки. И тут, как посчитал позже Ковригин, еще не началось.

Соседом поселка Ковригина был огородно-садоводческий же поселок Госплана. Где теперь этот Госплан? «А вот мы и есть Госплан!» – с обидой на исторические оплошности утверждали основатели и старожилы поселка. С обидой, но и с торжеством утверждали. А через шоссе, по ту сторону палатки, растило свои кабачки и огурцы товарищество Пролетарского района. Района такого в Москве давно не было. А здесь Пролетарский район был.

По тропке, в километр длиной, огибающей заборы Госплана, и предстояло идти Ковригину. Невдалеке, за березовыми грибными рощами у Любучан с его пластмассами, года четыре назад был поставлен беленько-синенький завод «Данона», и всем здешним полям определили растить корма для даноново-рогатой скотины, для их высочества вымени. Что только не зеленело перед заборами Госплана и Пролетарского района: и кукуруза, копившая в себе молочную спелость,

и овсы, и рожь, а в ней — естественно, синели и васильки, внимали небесному пению переживших нитраты жаворонков. Недавно травы со всякими виками и тимофеевками скосили и содрали с земли кожу «под пары». Местные трактористы недолюбливали бездельников дачников и каждый раз перепаживали тропку к автобусам и харчам, оставляя вместо нее особо крупные, вздыбленные ломти глины. И снова садоводы со смиренными ругательствами протапывали привычную дорогу на Большую землю. Ныне тропа, шириной в двадцать-тридцать сантиметров, была вытоптана еще плохо, и ход путника по ней затрудняли то колдобины, то так и не размятые куски глины без дерна. Ковригину же казалось, что тропинка полита растопленным мылом, причем не самым ароматным.

Впрочем, Ковригину скользить по дороге в палатку приходилось не впервой (были случаи, он падал, возвращался на дачу с измазанными штанами, но с полными сумками). И теперь он мог позволить себе не смотреть под ноги.

А смотрел он в дали. В детстве каждое лето он подолгу гостил у родственников в Яхrome, там же и на станции «Турист» пионерствовал в лагерях. Позже в разъездах по стране и в землях чужих подтвердилось его пристрастие к просторам и приволью. Даже в Яхrome, от Андреевской церкви Кампорежи на «горе» (высоте, говорилось во фронтовых мемуарах), были видны другие высоты Клино-Дмитровской гряды, долина (бывшая — реки Яхромы) нынче — канала, с

белыми пароходами вдаль и рядом, внизу, у шлюза, и город Дмитров, миривший князей восемьсот лет назад. При этих видах в душе отрока Ковригина возникали восторги, упоение земными далями и тайнами, упоение и собственным пребыванием в диве дивном и в мироздании вообще. Взрослый Ковригин называл эти состояния пафосными, радостными повизгиваниями щенка, марши при этих повизгиваниях следовало бы исполнять. Скажем, марш Фанагорийского полка. Просто созрел в отроке мужчина, отсюда и все его томления, да еще и при виде приволий. Впрочем, мысли взрослого Ковригина сейчас же и слоились... Вот когда он восьмиклассником в сумерках стоял один у дома тетки на вершине Красной горы, напротив горы Андреевской, а на той стороне канала на стадионной танцплощадке звучала музыка, помимо роков и твистов все эти «Мне бесконечно жаль...», «Я возвращаю вам портрет...», вот тогда и случались с ним эротические томления (или смущения?), в них были и тоска, и сладость, и предчувствие любви и её мерзостей, конечно, и фантазии возникали, известно какие... Но и тут для всего будто бы необходим был простор...

Подольские или лопасненские землеустроители отвели поселку Ковригиных место возле упомянутых уже пашен, сползавшее от них густым березняком с сосенками и дубками к угрюмому оврагу. Здесь вполне могли резвиться кикиморы, а лешему ничего не стоило с играми и со страшными голосами уводить Мизгиря, одуревшего от любви, в

сущности, к сосульке, в погибельные дебри. И овраг, пусть и при светлых дубах на южном берегу, кривясь боками, полз от деревни Леониhi к Троицкому мрачный и неприветливо-дурной. Возможно, когда-то здесь текла речка притоком к обмелевшей нынче Рожайке. В Троицком триста лет назад на всхолмленности над оврагом была поставлена каменная церковь (Ковригин зарисовывал ее наличники с элементами нарышкинского барокко), заменившая церковь деревянную. По предположениям Ковригина, Троицкому было не менее семи веков, и изначальную церковь села воздвигали именно над рекой. Потерявший воду и, главное, живое течение её, овраг и приобрел дурной нрав.

Ко всему прочему родители Ковригина по жребии получили затененный участок с невырубленными березами, а с запада к общему забору подступала еще и теснота сосновых посадок, в которых в шесть вечера утoпало солнце. Поначалу Ковригин участок невзлюбил. Замкнутое пространство, сырое весной и осенью, вершинами берез, а потом – и яблонь, слив, вишен и не способных угостить своими плодами груш отделявшее себя от неба, угнетало Ковригина. Но потом он привык к участку стариков. К тому же здесь он работал. Отдохнуть можно было и на море. Милы ему стали и леса во-круг – до поры до времени грибные, «лопасненский ареал белых». Потом Ковригин по иному взглянул и на унылые для него поначалу плоскости ближайших полей. Потихоньку открылись для него увалы пашен, уходящие далеко к северу,

к темно-плотным всхолмьям, возможно, хвойных лесов, извилины ивняка, вцепившегося во влажные берега Рожайки, петлявшей мимо села Мещерского в сторону старшей сестрицы Пахры. Даже холодно-серебристые башни электропередач здешним видам не мешали. Хотя, пожалуй, и мешали. А с асфальта шоссе Ковригин без раздражения рассматривал цветные и неближние строения села Мещерского, куда, как писали, заезжал переписчиком населения Лев Николаевич Толстой. И движение автомобилей самых разнообразных форм и окрасок в солнечные дни занимало созерцателя Ковригина, из неспешных букашек на повороте в Троицкое они превращались вблизи него в ревущих монстров...

Вот и в тот памятный для него день, пройдя без падений метров десять по глине с мылом, Ковригин остановился, пожелав рассмотреть здешние дали в пасмурный день. В студенческие годы он проживал романтиком, со всеми этими: «Пусть дождь и ветер...», «Кипит наша алая кровь...». Ну, и так далее. Прежний Ковригин куртку бы распахнул: нате, штормите, с ног сбивайте, нам только в радость! Нынешний же Ковригин натянул капюшон на лоб. И смотреть было не на что. Дальше дорожной насыпи ничего не было. Никакой Рожайки, никаких строений Мещерского, ни поворота на Троицкое. Никаких темных уступов северных лесов. Машины по шоссе ездил и были очевидны. И все.

Вот тут-то и пришлось Ковригину взглянуть под ноги. Поначалу Ковригин слышал какие-то глубокие вздохи

и стоны, глубинный же, подземный гул, а потом и будто бы идущий со всех сторон металлический скрежет. Металлические скрежеты здесь на памяти Ковригина случались. Однажды откуда-то из лесов на асфальты выкатывались колонны бронетранспортеров с угадываемым намерением ползти на Москву, угощавшую страну танцами лебедей. Сентиментальная музыка в Ковригине сейчас не возникала, звуки он слышал отчаянно-скребущие, трагические, иногда мрачный хор напоминал песнопение о Фортуне из «Кармины бурана» и бередил Ковригину душу.

Ковригин остановился.

Нет. Чушь. Никакие стоны, никакие скрежеты, никакие вызывающие трепет песнопения из «Кармины бураны» здешнюю местность не тревожили и не заполняли её тоской. Даже автомобили проносились по шоссе беззвучные. Ну, вода капала с неба, ну, ветер заставлял скрипеть верхушки берез. Однако ничего особенного в этом не было.

Особенное (возможно, лишь для него) происходило под ногами Ковригина. Поначалу Ковригину показалось, что он стоит на желтой (с зеленцой и серостью) ленте транспортера, и она передвигает его к палатке. Тут же он понял, что допустил в мыслях глупость. Движение под его ногами действительно происходило, и именно в сторону шоссе. Но движение совершалось не глиняным транспортером, а, надо полагать, сотней (или сотнями) мелких невзрачных существ. Это были лягушки. Лягушки передвигались прыжками (иногда

застывали, возможно, отдыхали, у иных из них силы, видимо, были на пределе) исключительно по тропинке, а если попадали в траву (слева) либо в глиняные торосы, оставленные трактористом (справа), сейчас же с упрямством или даже отчаянием старались вернуться на тропинку, будто именно там находилась единственная определенная кем-то, помеченная или даже вымолено-узаконенная высшими лягушачьими существами дорога. При внимательном разгляде Ковригин открыл для себя: земноводные были под ним разнообразных размеров и свойств. И именно мелко-невзрачные, будто только что получили аттестаты в лицах головастиков, и взрослые квакуши с сигаретную коробку, и высокомерные жабы со множеством выпестованных бородавок и мозолей. Причем, никакого рангового порядка в их дорожном расположении не было. «Никакой субординации, никакой иерархии...» – пришло в голову Ковригину. Никто никого не обгонял, никто ни кому не уступал места, понятно, те, что послабее или устали до немочи, отставали сами, никто их с тропинки не выталкивал, никто как будто бы, по понятиям или привычкам Ковригина, не требовал: «Уступи лыжню!». Перемещение осуществлялось как бы попеременно особей с разными силами и значениями. Стало быть, оно вышло экстренным, не исключено, что и паническим. Так представлялось Ковригину. Но, может, он и ошибался.

Наверняка каждый из путешественников имел свою «физиономию» и свои оттенки окраски. Но чтобы понять это,

надо было опуститься на корточки и с лупой у глаз рассматривать движение неизвестно куда. Или в какое-то особенное, спасительно-блаженное место. Но Ковригин в исследователи нынче не годился. Главное для него было сейчас не раздавить ни одну из мокрых особей. Вполне возможно, при первых шагах по тропинке он кого-то и передавил, тогда и услышал стоны, скрежет и подземные гулы. Разумно было бы остановиться и переждать переселение народов. Но тогда он бы вымок до необходимости принимать не пиво, а водку, а делать это он сегодня не намеревался, пиво же во время его вежливого пережидания могло и кончиться. А главное, шествие лягушек по тропе никак не утихало и не убывало, напротив, теснота здесь вот-вот должна была превратиться в давку. «Кто они? Куда их гонит? – естественно, пришло в голову Ковригину. – На митинг? На демонстрацию?».

В тесноте скачущих существ все же случались зазоры и временно пустые места, куда Ковригину удавалось опускаться, обходясь без жертв, резиновые сапоги. Он приспособился к ритму и темпу прыжков нескольких путешественников (или путешественниц) и как бы в согласии с ними совершал шаги. Конечно, терял время. Но никого не обидел.

Так они добрались до шоссейной насыпи у заборов Госплана. Насыпь проходила здесь над бетонной дренажной трубой, и всход на нее с тропинки был одолением крутизны. И в сухие дни люди постарше делали крюк, чтобы выйти на шоссе, да и спускаться с обрыва с двумя загруженными сум-

ками в руках выходило делом рискованным. Ковригин некогда дурью маялся, лазал по скалам, имел разряд, и по привычке взбирался на обрыв шагами «елочкой», вминая в землю ребра кроссовок. Сегодня и при своих умениях он раза три сползал к пашне. Бранился и на несколько секунд забывал о лягушках. Лягушки сами заставили вспомнить о себе. Они рвались к асфальту рядом с ним. Кто прыжками, кто усилиями будто прилипшего к земле тела, цепляясь за комья передними лапами и стараясь произвести толчок лапами задними. Ковригин застыл минуты на две, находясь в созерцании. За эти две минуты почти вертикальный склон одолели лишь четыре особи, да и те не сразу, а скатываясь то и дело к подножию насыпи и заставляя себя продолжить подъем. Чувство жалости и чувство собственной беспомощности испытал Ковригин. Лягушки не были на Земле одними из самых симпатичных для Ковригина тварей. Впрочем, они его и не раздражали. Ну, прыгали себе и прыгали. В начале лета, правда, в хоровых действиях противно квакали. Теперь же они вызвали сострадание Ковригина и желание помочь им. Но как им можно было помочь? Ведро, что ли, переносить их по глиняной дороге? И куда?.. А у подъема на насыпь уже возникало лягушачье столпотворение. Лента же транспортера (или конвейера?) волокла и волокла на себе существа, совершающие Исход. Так опять стало казаться Ковригину.

«А-а-а! Я здесь чужой и бессмысленно лишний! – подумал Ковригин. – Это их дело! Они знали, куда и зачем дви-

нулись!»

И он вылез на травянистый окаем шоссе.

И сразу же увидел на мокром асфальте десятки лягушачьих телец, раздавленных автомобилями. Иные из них были будто вмяты в серое покрытие дороги, другие валялись, раскинув искалеченные лапы. Эти-то погибли, а сколько-то их, надо полагать, перебрались через шоссе и поперли куда-то по новой глиняной тропе пообочь Пролетарского района. Но куда? Вниз? К петляющей километрах в двух севернее речке Рожайке?

А от забора Госплана уже выкарабкивались на насыпь новые упрямы из земноводных, а по шоссе все неслись и неслись приспособления на колесах, облегчающие жизнь млекопитающим при двух ногах и бумажниках с правами, и эти выкарабкавшиеся странники могли сейчас же превратиться в существ жертвенных.

И тогда Ковригин повел себя совершеннейшим чудиком, о чем потом вспоминал (и случалось, рассказывал) со смехом, а порой – со смущением.

Первым делом он заявил карабкавшимся на насыпь: «Куда вы прете! Вас же раздавят! Дождитесь хоть ночи!». Потом, будто и не обращая внимания на летящие автомобили, он принялся собирать еще живые существа, среди прочих и те, что только что выползли на асфальт, и швырять их в безопасность к Пролетарскому забору. И потом он встал посреди шоссе, растопырив руки и выкрикивая нечто экологи-

ческое, что именно, вспомнить позже не мог. Автомобили останавливались, Ковригин указывал на лягушачье шествие и просил живое не губить. Один из водителей, следовавший со стороны Добрынихи, вылез из своего «рено», лягушкам удивился, матом выразил свои восторги, закурил и, пока курил, Ковригина поддерживал, будто с намерением устроить сейчас же дорожный пикет. Грудь его украшали значки с физиономиями Анпилова и Ксении Собчак, этой – в шлеме танкиста. Другие же водилы, уразумев суть происшествия, крутили пальцами у висков и тут же продолжали путь, ещё и давя при этом лягушек, явно назло Ковригину. А один из лихачей, у кого на крыше «ауди» теснились готовые к зиме горные лыжи, заорал радостно: «Это же сумасшедший! Он удрал из дурдома!». Почитатель Анпилова и танкистки сразу же нырнул в свое «рено» и был таков. «А ведь и впрямь примут за сбежавшего из дурдома!» – подумал Ковригин. Все же по сотовому он связался со службой спасения. А когда в ответ на сообщенный им адрес вызова: «Это у Троицкого, там, где больница „Белые столбы“, услышал опять же радостное: „Ага, поняли, сейчас приедем за вами“» – сообразил, что действительно приедут за ним, упакуют и доставят в Троицкое.

«Э нет! – сказал себе Ковригин. – Надо бежать в палатку и за пивом! С пивом-то, да ещё и с третьей „Балтикой“ сумасшедшим не посчитают!»

Напоследок Ковригин наклонился над асфальтом и под-

нял большую лягушку, явно не раздавленную, но замершую, будто испутившую дух. Зачем, и сам не знал. Может, в движении этом был вызов, мол, считайте меня очумевшим, если вам так удобно, если диагнозом упрощения легче объяснить всяческие странности. Лягушка была жива, сердце билось в ней, она притворялась, словно простодушное притворство могло уберечь её от автомобильных шин. Или она замерла, устранившись нелепого человека с продовольственной сумкой в руке? Ковригин не швырнул её вниз к Пролетарской тропинке, а осторожно опустил в зеленую по летнему траву. Там машины не должны были бы проезжать. «Лягушка как лягушка, – подумал при этом Ковригин. – Лягушачьего цвета. И не тощая. Но что-то было в ее глазах, когда она открыла их. Что-то удивительное. И ужасное...»

Банок с третьей «Балтикой» в палатке не оказалось. А Ковригин покупал именно банки, их больше влезало в сумки или в рюкзак. Пришлось брать «Старый мельник» и «Ярпиво». Продавщица Люся, муж её владел ещё тремя бойкими точками в районе, имевшая прозвище Белый налив, сегодня же преображенная в Рыжий налив, с румянами на щеках, дама лет сорока, пышная, а ещё и утолщившая себя махеровой кофтой, ждала любезностей от Ковригина. Покупателей было мало, и всякие любезности для Люси были хороши, она, похоже, могла бы позволить Ковригину похлопать её и по заднице. А Ковригин, прежде любезный, взял и занудил Люсю испуганно-удивленным разговором о происшествии с ля-

гушками. Спас Ковригина здешний печник и архитектор каминов Ефремыч, тот с наглыми словами быстро добрался до Люсиных ягодиц, правда, получив литровую бутылку «Черноголовки» тут же и испарился. У Люси же рассказ Ковригина вызвал лишь фыркание, желание вымыть руки после этих жаб и немедленное оперативное решение: всучить Ковригину банку кальмара в собственном соку. «Раз уж вы так любите лягушек! – заявила Люся. – А кальмар, небось, их родственник. И у него, учтите, – голубая кровь. Я по телевизору слышала. В нем много меди, и потому у него кровь – голубая». Вместе с пивом, батоном сервилата, тортом «Причуда», курицей, хлебом Ковригину пришлось упаковывать в сумку и пакет две банки с голубой кровью. «А-а-а!» – подумал Ковригин и добавил к приобретениям бутылку питерского «Кузьмича».

Единственным, кто отозвался в палатке на слова о лягушках, был сосед Ковригина по товариществу Кардиганов-Амазонкин, пенсионер. Он, видимо, добирался в Сады из Москвы и по привычке зашел в палатку. Пребывал он в сапогах, крылатой плащ-палатке и в вечной соломенной шляпе. Но особенной, не беспечно-отпускной, а увлажненной потами шляпе чумака, развозившего по степным трактам мешки с солью. Если вникать в рассказы Кардиганова-Амазонкина, он участвовал и в обороне Царицына. Был он мужчина тонкощельный, подвижный и с принципами. Стаж он зарабатывал непременно начальником, то ли автобазы, то ли склада

типографской бумаги. Теперь он разводил цветы, имел в хозяйстве кур и кроликов и слыл беспощадным полемистом. К Ковригину он иногда заглядывал с шахматной доской (а жил через улицу, наискосок), но Ковригин, ссылаясь на занятость и на включенный компьютер, его предложения отклонял.

– С лягушками и для мопсы вшивой нет загадок, – заявил Кардиганов-Амазонкин. – Трахаться поперли. Приспичило – и поперли. Не в наших же болотах этим заниматься.

– Это осенью-то? – выразил сомнение Ковригин. – Они вроде бы по весне... Да и процесс у них тихий... Мечут икру и всё...

– Тихий! – засмеялся Кардиганов-Амазонкин. – Да у них похлеще носорогов это получается. Как же без траханья-то! Ты-то, небось, одной икрой не обходишься!

– Икра, она, – не от мужиков... – захихикала Люся.

– Это раньше у них одно траханье было в году! – сказал Кардиганов-Амазонкин. – А теперь распоясались! Теперь когда хотят! Свободы! Ни стыда, ни совести! Пуси-муси. Секс-меню. Или их провокатор какой, типа сектант, заманивает дудочкой. Сейчас пойду домой и всех их передавлю.

И Кардиганов-Амазонкин с комбикормами для кроликов в рюкзаке (об этом было объявлено Люсе) отправился к двери.

– А медуз среди них не было? – спросил он, уже ступая в дождь.

– Нет, – пробормотал Ковригин. – Вроде бы не было...

Ему бы выскочить вслед за Кардигановым и не допустить безобразия. А он не выскочил. Взял банку «Ярпива» и принялся потихоньку попивать успокоительный напиток. «Не передавит, – думал Ковригин, – не идиот же он. Да и куда спешить, наверняка движение прекратилось. А если не прекратилось, то тем более спешить не следует, чтоб самому заблудшим тварям не навредить... Но с чего вдруг в голову ему пришли медузы?...»

Но и через полчаса, закончив светские разговоры с продавщицей Люсей, Белым или Рыжим наливом, неважно каким, но несомненно – Наливом, Ковригин был вынужден убедиться в том, что лягушки не угомонились.

Ползли себе и ползли, скакали, карабкались, и ничто, видимо, не могло их остановить. На тропе и возле неё Ковригин обнаружил следы и факты приведения в исполнение драматических угроз полемиста с пусямимусями Кардиганова-Амазонкина.

Возмущенный Ковригин положил: сейчас же дома он соорудит фанерный транспарант со словами «Осторожно: лягушки!», и даже попытается зеленым фломастером изобразить на фанере тельца хрупких тварей лапками вверх, и с этим транспарантом вернется на шоссе. Единственно засомневался: почему именно зеленым фломастером? Разве они зеленые?

Но никакого транспаранта Ковригин не смастерил. И на шоссе не вернулся.

Он почувствовал себя голодным и усталым (ещё ведь и понервничал в дороге). Разогрел макароны, тушеную (с морковью, луком, чесноком, а по семейной привычке, – и со свежими листьями крапивы) свинину, обставил себя банками с пивом, засунул в морозилку бутылъ «Кузьмича», вынул из

морозилки же сосуд с «Гжелкой», не забыл и отварные, с солью, способные хрустеть здешние подгрузди – подореховки и чернушки. Подмывало его пустить в ход и всученные ему Люсей кальмары, но их надо было еще готовить, да и корректно ли было вкушать кальмары в столь напряженный, а может, и печальный для лягушек день? «Да причем тут кальмары и лягушки! – чуть ли не выругался Ковригин. – Мало ли какую чушь могла нагородить просвещенная „Миром животных“ Люся!».

На всякий случай он заглянул в Энциклопедический словарь, ещё «Советский», 1980 года выпуска. Словарь он держал на даче исключительно ради кроссвордов. Кроссворды надобились ему для утренних восстановлений словарного запаса, а порой и для простых успокоительных отвлечений. Составители же кроссвордов могли вынуть из компьютера фамилию какого-нибудь основателя правового нормативизма, и Ковригин лез в словарь и находил в нем австрияка Ханса Кельзена. Нате вам! Впрочем, словарь был скупой, в нем, скажем, о толстоноге сообщалось, что это то же, что келерия. И всё. Нынче Ковригин посчитал необходимым прочитать о лягушках. И вот что он прочитал на 715-й странице. Лягушки (настоящие), стало быть, бывают и не настоящие, эти – какие же? ну ладно, настоящие, – семейство бесхвостых земноводных. 400 видов. Бывают (голиафы, быки) до 25 см, этих едят. А вообще они классич. лабораторные жвые. Так... Ковригин нашел страницу с земноводными. Они,

значит, относились к классу позвоночных, кожу имели голую, богатую железами. Имели сердца и легкие, все как полагается (это только головастики дышали у них жабрами и умели до поры до времени к чему-либо прилипать). А главное – они были первыми позвоночными, перешедшими от водного к водно-земному образу жизни.

Это обстоятельство отчего-то обрадовало Ковригина.

Прочитал Ковригин статью (в восемь строк) и о жабах. О съедобности их или несъедобности указаний не было. Сообщалось об их сумеречном образе жизни. То есть промышляли они, видимо, по ночам. Ковригину сейчас же пришли мысли о сумеречности натур жаб, о мрачных их нравах.

«А-а-а! Это всё их дела! – подумал Ковригин. – Они сами разберутся во всём. И энергетика у них похлеще моей! Перли, как танковая дивизия! Первыми в земноводный образ перешли!»

Он сейчас же представил себе, как он мок на глиняной тропе и на шоссе, и как он, будучи, надо полагать, истинным московским интеллигентом, виноватым перед всеми и перед всем, нравственно страдал, а они все перли и перли, их не заботили земные мокроты, а на него, Ковригина, в их бесстыжести им было вообще наплевать, и он пожалел себя. Набрал полный стакан «Гжелки», помнил и о «Кузьмиче» от Рогожкина и генерала Иволгина, «Кузьмич» потихоньку добирал свое в морозилке. (Наутро Ковригин, а дождь перестал и солнце воссияло, прошелся до шоссе, вышло, что

снова и до палатки, и никаких лягушек, ни живых, ни при-
давленных, ни полемически уничтоженных суровым правдо-
любом Кардигановым-Амазонкиным, не обнаружил. Изо-
шли. Возможно, дошли и до места. Погибших уволокли с
собой... Но это было утром.) Теперь же Ковригин сидел в
тепле (протопил печку, вытащил головешки), смотрел на по-
следние равномерцающие угли, мирно взглядывал на пустые
перебежки игроков «Спартака» и «Зенита», и даже пафос-
ные комментарии с цитатами из корейской поэзии какого-то
Кваквадзе его не раздражали. «Надо же какой фамилией на-
градила его судьба!» – умилялся Ковригин. Пил прекрасные
для него сейчас жидкости, подносил вилкой ко рту соленые
подгрузди и готов был послать (куда, откуда, неважно) уни-
лительную же телеграмму Кваквадзе. Лишь слово «трико-
лор», ни с того ни с сего произнесенное в эфире, покоро-
било Ковригина. До него дошло, что в телеграмму придется
вставлять соображения вопрошающе-вразумительные. Поз-
вольте, уважаемый Кваквадзе, если у нас «триколор» (хоро-
шо хоть не «трико»), то жевто-блакитный флаг с майдана (то
бишь – базара) следует именовать «двуколором», а уж ки-
тайское полотнище и вовсе – «одноколором»...

И тут Ковригина сморило.

Часа четыре Ковригин дрых без задних ног. Потом Коври-
гин проснулся, промочил горло, и уже до утра пребывал в
дремотном состоянии.

В дремотном же состоянии посещают видения, оправдан-

ные ходом и смыслом бытия и неоправданные.

Совершенно неоправданными вышли для Ковригина разговоры с наглецом Кардигановым-Амазонкиным. В свой дом Амазонкина Ковригин вроде бы не пустил. Амазонкин, а небо как будто бы ещё не почернело, и птички не уснули в саду, тряс перед стеклом террасной двери шахматной доской, и Ковригин предъявил ему кукиш, на что Амазонкин, рассерженный, принялся показывать язык и изображать нечто, подпрыгивая и по-чудному растопыривая ноги, при этом тыкал пальцем в сторону Ковригина: мол, ты теперь не Ковригин, а Лягушкин.

Но сгнули Кардиганов-Амазонкин и его клетчатая доска.

И может, и не в дремотных видениях возникал Амазонкин, а являлся к Ковригину в своём натуральном тоскующем виде.

В дремотных же видениях перед Ковригиным стояли, скакали, двигались куда-то тысячи, миллионы бесхвостых позвоночных, первыми позволивших себе (в угоду развития мироустройства) перейти к водно-земному образу жизни. И прежде подобное (и не раз) случалось с Ковригиным. После удачных хождений по грибы, стоило ему под одеялом смежить веки (красиво-то как!), и тысячи белых, подосиновиков, лисичек в своем разноцветье выстраивались вокруг Ковригина, и он тут же, забывая о гудящих ногах, смиренно и тихо засыпал.

И ведь сморило хорошо, и ноги не гудели, и профилак-

тические средства, не позволившие завестись в промокшем соплям и чиху, сняли тревоги, а все равно в голову лезла всякая чушь. Неспроста, небось, хитроумный Амазонкин спросил о медузах. Теперь Ковригин был уверен в том, что в общем ковыляющем массиве (месиве?) передвигались и медузы. Ковригин даже крапивные ожоги ощутил на ладонях. Насчет кальмаров, особенно в собственном соку, уверенности у него не было, а вот медуз точно куда-то гнало. А уж тритоны, какие водились и в здешних лесных бочажках (однажды наблюдал), непременно обязаны были участвовать в мокром походе. Тут мысль Ковригина совершила ещё один загиб. Русалочка была дочкой тритона, пусть и копенгагенского. Стало быть, и русалочки...

Мысль об этом никак не удивила Ковригина. А почему бы и нет? Не русалочку ли он оживлял и бережно укладывал в безопасность травы? Не она ли крапивно обжигала его ладони? Сейчас же Ковригину привиделось личико русалочки. Оно, естественно, было печальное, заколдованное и отчего-то знакомое... Она еще явится, русалочка! Явится! Впрочем, и ещё кого-то из земноводных, бесхвостых подло заколдовывали какие-то сволочи. Ба! Но русалочка-то не входила в семейство бесхвостых... Ну и что? Ну и что?

«Фу ты! Бредятина какая-то! – сумел все же оценить зигзаги своих соображений Ковригин. – Чушь какая! Бред какой!»

Понятно, что в солнечный уже сад Ковригин вышел очу-

мевшим. С неба не капало. Да и не из чего было капать. И утреннее разведывательное путешествие к шоссе, а потом и вынужденное – в палатку, облегчения ему не принесло. Реальность вчерашних наблюдений не отменилась. Продавщица Люся (и нынче – Рыжий налив) тоже слышала о дурачествах лягушек от разных людей, в частности – и от водил. Видя неомощность Ковригина, в любезности его не вовлекала.

Дома рука Ковригина потянулась к морозилке. Нет, «Кузьмича» по утру Ковригин приказал себе не трогать. В целебные средства был определен «Старый мельник».

Конечно, проще всего было взять сотовый и набрать номер Стасика Владомирского. В третьем классе Стасик был снайпером по пальбе из рогатки. Голубей щадил по причине их убогости. Особенно же от него страдали воробьи и мухи – косил под китайцев. Теперь Стасик – биолог, доктор наук, знает всё про летающих, ползающих, испускающих дурные запахи тварях, о гадах и паразитах, хотя бы и мучных червях. Выслушав недоумения Ковригина, он, удивившись безмозглости темного человека, произнес бы часовую лекцию, и Ковригину стало бы скучно.

Ковригин относил себя к агностикам. В шутку, конечно. Но ни в коем случае не к атеистам. Упаси Боже!

Не втемяшивал себя безоговорочно в сообщество агностиков (да и какое у них сообщество; ну, скажем, – конгломерат одинаково мыслящих или одинаково упертых). Цепя-

ми звенящими будто бы признанных умственных заслуг к ним себя не приковывал. А именно относил. Сегодня отнес. Завтра перенес. Агностики же полагают, что науки способны лишь изучать явления, познать же сущности и закономерности явлений им неведомы. Да и ни к чему эти познания. А потому и оценочные суждения Ковригина нередко выходили воздушно-лохматыми. Он называл их домоткаными. В них были просторы для фантазий его интеллектуального марева и игры вариаций. Но получалось, что его вольная эссеистика была интересна немалому числу читателей. Причем в своих исторических построениях (даже и с допуском иронической мистики) или гипотезах Ковригин никогда не позволял себе (и в увлечении – «эко занесло») впадать в безответственные авантюры на манер «новых хронологов» или экстренно-коммерческих толкователей катренов Нострадамуса. Всегда опирался на точные факты и судьбы, порой хорошо известные публике.

«Главное – не быть классификатором», – убеждал себя Ковригин. Классификаторы в гуманитарных дисциплинах раздражали его. Помещение личностей, их творений, способов и драм их жизней в какие-либо клетки, временные ли, жанровые, стилевые (упаковка Моне, например, в тару импрессионизма или Врубеля в смальтовые уголки северного модерна и т. д.), вызывали у Ковригина цветение ушей. Да и какой из Ковригина мог получиться классификатор, если он заканчивал безалаберный факультет журналистики! Ка-

кие только птенцы не разлетались из гнезда на Моховой! Однокурсник Ковригина, подававший надежды фельетонист, нынче владелец бани в Краснотурьинске. Другой однокашник прокурорит под Курганом. С Моховыми дипломами существовали и кинорежиссеры, и послы, и натёрщики полов, и карточные шулера, и актеры с актрисами, и вышивальщицы по канве, и вязальщицы детективов, а с ними и штопальщицы подстрочников, и воспеватели на ТВ шести соток, и переносчики микробов. Да кто только не стал вблизи взятого в трубу устья реки Неглинной человеком!

Стал ли Ковригин человеком (кандидатом он стал, попал и в докторантуру), сам он судить не брался. Приятели его из технарей и медиков определили его в «балбесы», и это Ковригина не расстраивало.

И сегодня Ковригин был агностик.

Из-за чего и куда произошло хождение земноводных да еще и с одолением погибельного шоссе (кстати, ведь рядом под шоссе была дренажная труба!), обсуждать не имело смысла. Мало ли из-за чего и куда. Тем более что как-либо вмешиваться в это хождение ни ему, ни другим, более разумным, не было дано. Значит, природа или её мелкие исполнители так распорядились. Может, в эту пору и положено было случиться лягушачьему нересту. А может быть, прав Кардиганов-Амазонкин, тварям, от наших привычек далеким, захотелось потрахаться лишний раз, они свободные существа в свободном государстве, а кое-кто из их авторитетов, воз-

можно, и насмотрелся передач Анфисы или «Дом-2». Или же определенное сроками их размножение в нынешнем сезоне не дало ожидаемого урожая, и вышло чрезвычайное предписание удовольствию повторить, но с большим усердием. И нечего Ковригину было разгадывать загадки, какие всё равно не разгадаешь. Тем более что они не из его жизни и не из жизни его отряда млекопитающих.

Забывать шествие земноводных, пусть даже с медузами и тритонами, Ковригин не намеревался, но постановил: держать в голове лишь зрительный ряд вчерашнего дня, в суть его не вникать и со своей судьбой никак не связывать. И при этом мысли о лягушках сейчас же загнать куда-либо в угол или подпол сознания. И следовало плеснуть ещё одну банку «Старого мельника» в пивную кружку, сесть к старенькому компьютеру и заняться делом.

А занимался он тем, что мусолил сочинение о Рубенсе. К сочинению же этому он готовился месяцы. Конечно, полагал Ковригин, для нашего просвещенного СМИями населения, приучаемого к пустоте в мозгах теперь ещё и экзаменами ЕГЭ, какой-то мазила Рубенс – фигура, возможно, даже менее важнoзанимательная, нежели существа земноводные, бесхвостые, способные к спорным переползаниям. И все же, не имея в виду какие-либо корысти, Ковригин писал о Рубенсе. И главным образом не о Рубенсе-живописце, тут давно было всё выяснено и разъяснено, а о честолобивом человеке, склонном к авантюрам, временами по су-

ти – разведчике и дипломате, искусно или артистично-рискованно ведущем себя «с тайными поручениями», скажем, в Испании, Париже и Лондоне. Однако ни строчки не выдавили из клавиатуры компьютера пальцы Ковригина.

Опять полезли ему в голову мысли о лягушках. Теперь они были связаны с соображениями Ковригина о собственном несовершенстве. Он считал себя начитанным человеком, с системным подходом к знаниям. Что-что, а системные уроки МГУ давал. Сейчас же в мысли Ковригина, помимо его желания, врывались обрывки, обмылки каких-то дурацких воспоминаний, в которых так или иначе существовали лягушки. Вот Яхрома привиделась, летние дни у тетушек в Красном поселке. Ковригин-отрок с пацанами лежит на берегу канала, мокрый, сохнет, теплый воздух обдувает крепкое мальчишечье тело, будто ласкает его. Блаженство. Серо-бурая волжская вода (кораблей и плотов нет) тихо и смиренно лижет булыжники береговой вымостки. Доброжелательность мира. Ленъ. Кто-то сопит на бетоне латка рядом. И будто сквозь сон слышится: «Женька, перестань надувать лягушку! Смотреть противно!» Ковригин открывает глаза. Женька Телёпин с соломинкой во рту надувает лягушку. «Женька, прекрати! – рычит Ковригин. – Утоплю!» Кто-то добавляет: «Мертвая лягушка – к дождю!» А кому охота, чтобы в день каникул шел дождь? И ещё. Слова тетушек: «Не бери в руки лягушек – бородавки будут». В руки лягушек Ковригин не брал. Кузнечиков брал, стрекоз, бабочек, саран-

чат, коли появлялись, даже птенчиков дурных, свалившихся на землю и не вставших пока на крыло, ершей сопливых брал, а лягушек никогда. Возле воды пришло к нему однажды радостное соображение: «Брассистка – высшая стадия развития лягушек». Соображение это было вызвано Юлькой Лобовой, Ковригину симпатичной. Юльке оно и было высказано. Юлька высокомерно не обиделась, но заявила, что она переходит на баттерфляй, там есть перспективы. «Значит, ты будешь отныне лягушка-бабочка. Или порхающая лягушка»...

«Погоди! – остановил себя Ковригин. – А откуда они взялись, вчерашние-то? Где они жили-поживали прежде-то? Что-то я их не видел...»

Действительно, сидели или прыгали какие-то особи и в его саду, не квакали, а старались быть незаметными, пожирали комаров с мошками, и другую дрянь, порой и наглевших улиток, но и было их всего несколько штук. И в грибных походах, в лесах и рощах, Ковригин лягушек почти не встречал. Откуда же чуть ли не Батыева орда собралась вчера и двинула в поход?

Не в их ли луже сидели они, помалкивая до поры до времени? Впрочем, они и вчера не были шумны и разговорчивы...

Ковригин уже вспоминал накануне о нраве и судьбе здешнего оврага. А история его имела продолжение. Первоустроители огородно-садового поселка были людьми относитель-

но молодыми, громкогласными, энергичными и с хозяйственными связями. Про таких говорили тогда: «Энтузиасты с задоринкой». На планах новостроя улица, должна проходить по северному берегу оврага, именовалась Набережной (на ум фантазеров приходили набережные Ленинграда со львами и сфинксами). Среди энтузиастов был и член правления Кардиганов-Амазонкин, по рассказам соседей, тогда – первейший горлопан, но и умелец выстраивать ехидные словесные обороты, в свое время, говорят, смаковал выступления министра иностранных дел А. Я. Вышинского на заседаниях ООН. Читал и Цицерона, жалел, что не в подлиннике. Амазонкина и выбрали ответственным за устройство в овраге пруда с купальнями, лодочными причалами, заселенного – ко всему прочему – и приветливыми карпами. Прудоводство, как и разведение картофеля в горшках на подоконниках или загадочная гидропоника, в ту пору процветало, не все гнать шпалы с рельсами к Тихому океану. И за два года пруд был устроен. Соорудили земляную плотину-запруду с бетонной трубой и металлическим засовом в ней для выпуска лишней воды. И всё это – как в фантазиях: хочешь, плавай туда-сюда, выйдет – два километра, хочешь, рассекай талую воду веслами, хочешь, стирай подштанники с досчатых мостков, хочешь угощай тещ и котов карпами и карасями. Но на десятый год общественного благоухания плотину по весне прорвало, бетонную трубу выбило и отволокло бурлящей водой метров на тридцать вниз по оврагу, а шлюзовый засов искорежило.

Денег на восстановление пруда, естественно, не нашлось, а большинство огородников к этому и не проявило расположения, уж больно гадили, орали и дрались на южном берегу чужаки, хулиганье из Троицкого, какому еще предстояло стать подольско-чеховской мафией. И осталась под плотиной имени Кардиганова-Амазонкина лужа, правда, не малая, метров пятьдесят на пятьдесят, по ней мальчишки на плотиках (и Ковригин с ними) играли в пиратов, по откосам посиживали с удочками пенсионеры, уверявшие, будто в водоеме завелись судаки, но не клюют, подлецы, ротанов здесь всё же вылавливали. И, конечно, в мае и позже там всё квакало, по ночам – противно и на километры вокруг, и головастики кувыркались. Теперь лужа уж совсем мала, удильщики пропали, бока лужи обросли камышом (откуда он здесь взялся?), а в последние две осени на луже была замечена цапля, задумчивая, с приподнятой над водой лапой, и можно было понять, сколько в луже воды. В канун октябрей цапля улетала.

Стало быть, из нашей лужи такого воинства лягушек, медуз, тритонов, русалочек, даже если их пощадила цапля, в дорогу по глиняной тропе никак не могло было бы заманено или мобилизовано. Откуда же они взялись?

Правда, старушка Феня из ближней деревни Леониха, по привычке носившая в дом Ковригиных мед, как-то уверяла, что, по их легенде, где-то здесь есть бездна, и в ней живет страшный, но не леший и не водяной, а просто лохматый Зыкей (или Закей), он-то в свое время и разогнал пруд с по-

стирушками, с карпами и карасями, он и ещё что-нибудь из озорства ухлопонит. А может, и не из озорства, а со зла и от досад.

А еще Аристофан! Вспомнилось вдруг Ковригину. Какой Аристофан? Тот самый. Но он-то к чему, он-то с какого бока при то ли Зыкее, то ли Закее? А к тому, что башка его, Ковригина, забита всяческими бесполезными сведениями, применение которых при оценке простейших фактов никакого толку не дает.

Аристофан вспомнился потому, что у него есть комедия «Лягушки», и её Ковригин в студенческие годы читал.

Сразу пришла на ум фраза: «Иных уж нет, а те, что есть, – ничтожество». Цитата в «Лягушках» из пропавшей пьесы Еврипида. Её произносит Дионис, он же Бахус, он же Вакх. А где там сами лягушки? Ковригин забыл. Осталось в памяти вот что. Студент Ковригин посчитал тогда, что комедия Аристофана и для его века – литература высокого уровня с сочными текстами для актеров и двумя забавными пикировками: бога Диониса и его слуги Ксанфия (эта – с элементами приземленно-бытовыми) и Эсхила с Еврипидом (тут – дуэль из-за смыслов и способов искусства и его влияния на жизнь человека). Победителем Дионис признал Эсхила и возвратил его из небытия для совершенствования народа (самому же Ковригину тексты и сюжеты Еврипида были симпатичнее). Застрял и надолго в восприятии Ковригина эпизод с кашей. С одним из персонажей Дионис желает поделиться степенью

своего томления (ждет встречи с Еврипидом). Томление это ростом с великого Мамона. «По женщине? По мальчишке? По мужчине?» – не может понять страсти Диониса собеседник. «Томление такое душу жжет мою... Но попытаюсь разъяснить сравнением. Тоску по каше ты знавал когда-нибудь?» «По каше, – радуется собеседник, – ну ещё бы! Тридцать тысяч раз... Про кашу? Понимаю все». Собеседника Диониса зовут Гераклом. Собеседнику бы этому соорудить мемориал в имении Баскервилей! Впрочем, если принять во внимание достижения умов «новых хронологов» и примкнувшего к ним известного погонялы слонов и коней по доскам в направлении компьютеров, должно признать, что никаких античных времен не существовало, а имя богатыря, придуманного ради оболванивания неразумных голов, слямзили с рекламы каши «Геркулес». А если и существовал какой-то амбал-здоровяк с легендами и анекдотами, то существовал в условном восемнадцатом веке, и был это – либо купец Овсянкин, либо мельник Овсов. Лягушек же из текста Аристофана Ковригин так и не мог вспомнить. «В Москве посмотрю...»

Фу ты! Опять черт-те что лезет в голову, рваное, лоскутное. Вон из соображений, вон лягушки, и скользкие, с бородавками, и мифологические, всякие там царевны и дочери тритонов! Вон, и навсегда! Брассистка – высшая стадия развития лягушек, с длинными крепкими ногами и впечатляющей грудью, развитой гребками загоревших на сборах рук.

Только о таких и стоит думать.

И назад – к Рубенсу!

Но и Рубенс не шел. Не оживал, не пробивался к Ковригину из рам своих развешанных по миру узилищ.

«Тут не в лягушках дело, – сообразил Ковригин. – А в Петьке Дувакине. В нем, стервеце!»

Петька Дувакин был работодателем Ковригина. Не одним, слава Богу, работодателем. Но доброжелательным и заинтересованным. Он выпускал журнал «Под руку с Клио» (название легкомысленное, но легкомысленности в публикациях не было). Ковригин присутствовал в журнале каждый месяц. То с колонкой, то с текстом на пять полос (с картинками). Эссе о Рубенсе было обговорено и ожидаемо, однако в бумагах и решениях Дувакина застряла «заметка» Ковригина (так именовал её сам автор) о костяных пороховницах. Дувакин морщился, хмыкал, и Ковригин стал упрямитесь, мол, если не выйдут «костяшки», то и Рубенса вы не получите. И вот теперь задержкой с «заметкой» он готов был оправдать свое пустое сидение над текстом о Рубенсе.

«А схожу-ка я в лес!» – решил Ковригин.

И сходил.

В ельнике нарезал сыроежек, попались ему и солюшки, белые и черные подгрузди, по-местному – подореховки и подрябиновки, стояли на опушках подберезовики, были брошены в пакет два боровика и лисички. Но нынешний лес можно было признать пустым. Лесной подрост был еще зе-

ленный, пни пока не взорвались опятами. В сыром мху под орешником Ковригин заметил лягушат – значит, иные из них никуда и не двинулись. Хотел в расчете на белые перейти на южный берег оврага к дубам и липам, но посредине оврага, где когда-то прокатывал барышень на лодках, провалился в яму, забитую крупными ветками и даже досками (откуда они?), мог и повредить ноги, бранясь вернулся на свой берег. «Зыкей-то лохматый живет в досадах!» – вспомнились слова леонихской Фени.

Дома возился с грибами, не лишней оказалась к ним картошка в мундире, была откупорена и бутылъ «Кузьмича». Под одеяло Ковригин нырнул в уверенности, что когда он прикроет (смежит!) веки, как и в прежние времена, увидит грибы, грибы, грибы в траве, во мху, в опавших иголках, и станет покойно и хорошо. Но и нынче вместо грибов тотчас же поползли перед ним лягушки, медузы, тритоны, кто-то слизывал их языком гигантского муравьеда, а потом потянулась строка из Энциклопедического словаря, зачернела, превратилась в транспарант с площадной демонстрации: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ». Тут кто-то гнусно заорал, но будто бы вдалеке: «Для ловли раков нет лучше приманки, чем жирные лягушки! Пейте пиво „Толстяк“, чрезмерное употребление которого...» И снова поползли слова: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ».

Ковригин проснулся рано, но и Кардиганов-Амазонкин уже не дремал.

Ковригин, позевывая, потягиваясь, вышел открывать замок калитки, а Амазонкин уже прогуливался вдоль его забора. Амазонкин, хмырь болотный, болотный хмырь (в болотах, стало быть, водятся и хмыри? Цыц! Хватит!), держал в руке кожаную папку, будто явился к Ковригину делопроизводителем в надежде получить от Ковригина подписи на бумагах. Но папку не открыл, а отодвинул левую ногу с намерением произвести поклон, но не произвел, а снял чумацкую соломенную шляпу и помахал ею, произнеся приветственно-язвительно:

– Солнышко. Дороги просохли. Так что, машина к вам прибудет без помех и забот.

– Какая машина? – удивился Ковригин.

– Какой предназначено, – сказал Амазонкин. – Богатая машина. Серебристая. Или платиновая.

На террасе затрещал сотовый. Мелодиями телефон Ковригин не одаривал. Один из его знакомых всобачил в мобильник громовые звуки государственного гимна, чем при входящих (или нисходящих?) звонках приводил сотрудников за соседними столами в трепет. Двое конторщиков при этом непременно вскакивали, а один из них бормотал нико-

му не известные слова (однажды знакомому Ковригина показалось, будто он услышал: «И все биндюжники вставали, когда...», журить бормотание коллеги он не стал, вдруг и впрямь показалось?). У Ковригина сотовый лишь трещал. Или дребезжал. Но и при дребезжаниях Ковригин чувствовал, в каком случае телефон брать, а в каком – жить дальше без пустых разговоров.

Звонил Дувакин.

– Шура, ты когда будешь в Москве?

– Когда начнутся занятия. То бишь в конце октября.

– Все загораеться?

– Загораю, – согласился Ковригин.

– Электронная почта у тебя есть?

– Зачем мне она?

– С людьми общаться! – буркнул Дувакин.

– Это с кем же? – рассмеялся Ковригин. – Иных уж нет, а те, кто есть, – ничтожество.

– Ты про меня, что ли?

– Это не я. И не про тебя. Это Еврипид. И возможно, про Эсхила.

– Начетчик ты все же, Ковригин. И пижон, – рассердился Дувакин. – У меня времени нет. Придется человека отправлять. И чтобы он тут же вернулся с твоей визой.

– С какой визой? На чем?

– На твоих костяных изделиях. Срочно приходится ставить в номер! Марина, у нас есть кого к Ковригину по-

слать? – это уже к Марине, секретарше. – Говорит, есть кого.

И сейчас же – голос Марины, лани шелковистотрепетной: – Ну конечно, Сан Дреич, для тебя всегда всё найдётся, соскучились по тебе. Жди красавицу.

Отчего-то бабы разнообразных очертаний, страстей и возрастов были благожелательны к нему. Отчего, Ковригин и сам не знал. Да и старался не вникать в суть их благожелательности, возможно, и вероломной.

Спросить, какую такую красавицу ему следует ждать, Ковригин не успел, Петр Дмитриевич Дувакин разговор оборвал. «Цу», «цу», «цу» отцокало и утихло.

Ага! Ковригин чуть ли не руки потирал, торжествуя. Дыра, стало быть, образовалась в журнале Петра Дмитриевича, пробоина, течь, и подруга Петра Дмитриевича, несравненная Клио, в недовольстве могла наморщить лоб.

Хотя чему тут было радоваться? Ещё поутру Ковригин был в обиде на Дувакина тот, мол, не может по справедливости оценить его, Ковригина, работу, тем самым проявляя жлобство и высокомерие. Потому, мол, он и с Рубенсом застрял. Теперь же Ковригин чуть ли не стыдился своей «заметки», думал: «А что уж в ней такого замечательного?» Сочинение было явно компилятивное, со ссылками на исследования И. Забелина, И. Ухановой, А. Кирпичникова, публикации в Трудах Эрмитажа, Исторического музея и т. д. Но популяризаторство (или просветительство) – то же ведь не последнее дело. Хотя ни на какие открытия Ковригин не пре-

тендовал, имелись в статье и собственные его наблюдения, возникшие после знакомства с северными косторезами, холмогорскими, чукотскими и особенно тобольскими. Тобольск Ковригин любил, с охотой ездил в столицу Сибири и в командировки, и по приглашению тамошних патриотов. В свое время Ковригина необъяснимо увлекло попавшееся ему на глаза словосочетание «костяные пороховницы», чуть ли не околдовало его. А всего таких пороховниц (или натрусок, тоже слово замечательное) в музеях России имелось меньше десяти штук. Среди прочих завихрений и заскоков Ковригина появился теперь, и надолго, интерес к костяной миниатюре, украшавшей веками и оружие, и всякие штучки, ублажавшие прекрасных дам (уже во времена Данте на гребенках из слоновой кости рыцари преклоняли колени перед своими прелестницами). Материалом для мастеров Аугсбурга, Нюрнберга, Дрездена была именно слоновая кость. Северные же резчики использовали кость моржовую, Рыбий зуб, из-за которого сибирские землеустроители и вышли к устью реки Анадырь. Каких только костяных поделок не создавали умельцы! Именно с ними и были хороши (естественно, и ценны) и пищали, и сабли, и бердыши, и охотничьи ножи, позже – из Тулы и Златоуста. А всяческие табакерки? А ларцы? А хранилища дамских секретных средств? Среди прочих костяных изделий не последними были натруски, то бишь пороховницы, это уж – для утех и бахвальств охотников побогаче. При этом резчики брали сюжеты канонизиро-

ванные, в частности из книги начала века восемнадцатого «Символы и эмблематы». Добавляли и собственные фантазии, но чаще следовали чужим штудиям и оглядывались на житейские спросы. Ковригин же, будучи в Тобольске, однажды охнул: среди работ мастера, обычно украшавшего моржовые бивни картинками трудовых будней оленеводов, увидел костяную диковину, кривоудлиненную на манер натруски, с сюжетом, несомненно, нюрнбергского художника шестнадцатого века, может, взятом у самого Дюрера. Каких только людей европейских (а стало быть, и мировых) значений не пригоняла судьба в духовный и торговый котел Сибири, Тобольск, один просвещенный хорват Юрий Крижанич чего стоит! Кого – в ссылку, кого с дипломатическими поручениями, кого будто бы в путешествия, но с расчётами и с приглядом к силам и богатствам таинственных прежде земель. Кто-то из них, возможно, и завозил в Тобольск нюрнбергский (или аугсбургский?) шедевр, а возможно, и кто-то из временных гостей или сидельцев Тобольска и сам был первостатейным миниатюристом, и теперь его умение проросло сквозь листовничные настилы веков и возобновилось на моржовой кости по соседству с охотничьими забавами ненцев или чукчей.

Об этом своем наблюдении Ковригин и сообщил в статье. О другом собственном знании решил пока помолчать. Пусть публика (хоть даже этой публики и двадцать человек, но это так, для самоуничижения, пижонство в мыслях; чи-

тателей у «Под руку с Клио» не меньше двадцати тысяч, а может, их и больше), пусть публика попривыкнет поначалу к «костяным пороховницам», а потом он и обнаружит один предмет, косвенно родственный «костяным пороховницам», предмет, и для самого Ковригина загадочный, манящий раскопать его историю и истории персонажей, с ним связанных. Нынешняя «заметка» Ковригина могла вызвать отклики, вдруг и со сведениями о судьбе потаенного пока предмета, и отсрочки публикации её, понятно, раздражали Ковригина и обостряли в нем страсти кладоискателя.

И вот – нате вам! – статья поставлена в номер.

Мысли о пороховницах отвлекли Ковригина от всего сущего, и он не сразу сообразил, что на улице возмущенно ржет конь и в нетерпении бьет по земле копытом.

То есть никаких скакунов или кобылиц не было, а у его забора стоял серебристый «лендровер» с тонированными стеклами и производил нагло-невежливые машинные звуки.

Как только Ковригин подошел к калитке, дверцы автомобиля открылись, из передней вырвалась молодлица непонятных пока Ковригину лет, из задней выполз Кардиганов-Амазонкин с утренней папкой в руке. Молодица была в экстрим-прикиде или сама экстрим, Амазонкин, обычно важный, с шеей-перископом, отчего-то ужался, измельчал, шею же свою, ставшую черепашьей, втянул в панцирь.

– Вот, Александр Андреевич, – Амазонкин, будто дворецкий, из смиренных и напуганных, хозяину замка, доложил

Ковригину: – Я стоял в раздумьях у ворот... Троицких... а подъехал лимузин, и я помог товарищу найти ваш участок...

– Спасибо! – резко сказала молодица и взмахнула рукой в сторону Амазонкина, то ли и вправду благодарила его, то ли давала понять: «Брысь!».

Амазонкин, ещё более измельчав, кавалеристом кривя ноги, засеменил восвояси.

Молодица повернулась к Ковригину.

– Вы Ковригин?

– Ну, я...

Молодица выглядела то ли рокером, то ли байкером. И может, и парашютисткой из ступинских рекордсменок, выписывающих в небесах кренделя и поздравительные слова. Ковригин в этом не разбирался. Во всяком случае, не хакером. В черных кожаных штанах (с кошачьим подбоем – было добавлено позже), с заклёпками, с наборами металлической фурнитуры, с зимними, давосскими очками, сдвинутыми на высокий загорелый лоб («Ба, да лоб-то выбривали, как во Флоренции при Данте! Но тогда пилинг проводили с помощью деревянной или стеклянной лопатки, вот и брови у неё выгнуты углом... – подумал Ковригин. – Но что пристал ко мне этот Данте?» Пожалуй, куртка гостыи с красными клиньями из какого-то ноу-хау или нано материала все же более соответствовала воздушным видам спорта.

– Я от Дувакина, из журнала. Привезла вам...

И она протянула Ковригину руку:

– Лоренца Шинель.

«Вот отчего Данте-то возник, – подумал Ковригин, – с его флорентийками... И вообще с Флоренцией...»

– Вы новая сотрудница? – спросил Ковригин.

– Типа того... – кивнула гостья.

– Вот ведь сидишь в лесу, – завздыхал Ковригин. – А о самом интересном узнаешь позже всех... Так как, как вас именовать?

– Лоренца Шинель... Шинель – это фамилия моего последнего мужа. Вы, наверное, о нем слышали...

– Может, и слышал... Вроде бы очень богатый... Что-то там по лекарствам... – изобразил напряжение мысли Ковригин. Не помнил он никакого Шинеля...

– Был.

– Был? С ним что-то случилось печальное?

– Был очень богатый. До развода. А теперь уверяет, что его обобрали. Молчал бы. Не лезть таракану на ржаную лепешку... Свою визитку я вам оставляю. А теперь давайте перейдем к делу.

Из автомобиля был доставлен бумажный пакет с физиономией Клио, будто эту Клио кто-то наблюдал и помог криминалистам с Петровки сотворить её словесный портрет. Впрочем, Клио на пакете имела и фигуру, а потому и могла протянуть руку расположенному к сюжетам истории читателю. Лоренца приволокла и картонную коробку, основательно перетянутую лентами скотча.

Бумаги из пакета было велено прочитать немедленно, а с макулатурой из коробки можно и не спешить, распечатать её хоть бы и завтра...

— Долго вы меня искали? — из вежливости спросил Ковригин.

— А чего было вас искать? — удивилась Лоренца. — У меня лоцманом или штурманом сидел этот утконос, «сейчас — направо, теперь — налево»...

— Это здесь, — сказал Ковригин. — Обычно, начиная с Симферопольского шоссе плутают в поисках нашего поселка...

— И тут никаких забот, — сказала Лоренца. — У меня же был ваш адрес. Вот он: «Чеховский район. Урочище Зыкеево. Садово-огородное товарищество издательства „Перетрут“»...

— «Перетруд», — поправил Ковригин. — Все, что могли, давно перетерли...

— Ну, «Перетруд»! — чуть ли не обиделась Лоренца. — Какая разница!

— Урочище Зыкеево... — пробормотал Ковригин.

— Ну и что? Вы, я вижу, будто бы взволновались отчего-то. Забыли, что ли, что проживаете в Урочище Зыкеево?

— Забыл, — сказал Ковригин. — В каких-то бумагах видел это название... Но забыл...

— И что же в нем такого особенного, чтобы волноваться-то? Урочище и урочище. От того у вас и сырость. Небось, клюкву можете разводить и морошку. И в Зыкееве никакой странности нет. Один из моих мужей был Зыкеев... Уто-

нул...

Позже, в Москве, Ковригин заглянул в Даля и был отчасти разочарован. «Урочище» оказалось производным от зачудливого слова «урок» и употреблялось землемерами при межевании. То есть какой-то Зыкей мог быть наделен урочищем. Впрочем, тут же Ковригин посчитал, что именно их урочищу с оврагом свойственны сырость, мрачность затененности, туманы, а страшный и лохматый Зыкей вполне может соответствовать леонихской легенде.

Тогда же вблизи Лоренцы он все повторял:

– Урочище Зыкеево...

– Чего вы бормочите! – возмутилась Лоренца. – Вы бы лучше накормили девушку. Вчера в каком-то ресторане, не помню каком, но с немцами, в меня насовали одну спаржу. И у меня сегодня ноги тонкие.

– Чем же мне вас накормить-то? – растерялся Ковригин. – Суп из концентрата – горох с копченостями. Сосиски...

– Сосиски! – рассмеялась Лоренца. – Соя в резинке... За безопасный секс...

– Ну, не знаю... Картошку могу отварить. Свежая... К ней – грибы жареные. Норвежскую селедку открою. Или банку горбуши... А напитки есть всякие – и коньяк, и ликер, и херес массандровский, и рейнское вино... Вот это есть...

Водка и пиво не были упомянуты Ковригиным ради соблюдения собственных интересов.

– Рыбу не ем. Противна организму. От напитков не отка-

залась бы. Но за рулем. А вам надо поспешить с вычиткой. Вот яблок, вижу, у вас видимо-невидимо. Яблоки ваши для начала я и откушаю. А что вы на меня так смотрите?..

– У вас глаза... – пробормотал Ковригин.

– Малахитовые, что ли? Как у хозяйки Медной горы? Так это линзы. На нынешний случай. А на другие случаи у меня имеются линзы и фиолетовые, и антрацитовые, и малиновые. Делов-то!

– Нет, я про другое... – сказал Ковригин, смущаясь, будто бы проявляя бестактность. – Они у вас идеально круглые. Как монеты... Как спутник наш в ночь полнолуния... Я таких не видел...

– Чепуху вы какую-то городите! – Лоренца, видимо, рассердилась, очки со лба спустила на малахитовые глаза. – Они что, некрасивые?

– Красивые, – сказал Ковригин. – Но... своеобразные... Будто буравят что-то. В природе. Во мне.

– Ладно, успокойтесь, – произнесла Лоренца, голос у нее был низкий, полётный, коли б имела слух и прошла выучку, могла бы при советах Дзефирелли жрицей Нормой пропеть слова заклинаний. – Бабу голодную ублажить не можете, так скорее разбирайтесь с бумагами. А я пойду к вашим яблонам. Полнолуние-то, кстати, сегодня.

Но ноги удержали Ковригина на месте. Минуты две он стоял и наблюдал за новой сотрудницей журнала «Под руку с Клио». «Самостоятельная дама, дерзкая, – думал Коври-

гин. – Такие склонны к авантюрам. Небось и впрямь с ревом гоняет по ночам на своем „харлее“ или „ямахе“, будоража добродетельных москвичей...» Банальные соображения «на кого-то из знакомых она похожа, где-то я её видел раньше» – в голову Ковригину не приходили. Нет, не видел, нет, не похожа. Но угадывалось в ней – в облике её, в движениях её тела, в её жестах умеющей повелевать – нечто предполагаемое в бытии, нечто обязательное и неизбежное в развитии сущего, с чем Ковригину пока не доводилось встречаться, но что ему ещё предстояло ощутить или даже познать. От этого рождалось беспокойство и оживали подпольные желания.

А слова «бабу голодную ублажить не можете» вызывали у него теперь и досаду...

Не успел Ковригин на террасе прочитать записку Дувакина («А ничего, ничего оказывается у тебя текст-то, и ощущается в нем твоя сверхзадача, есть у тебя, видимо, секретец, и раскрытием его, надеюсь, ты ещё обрадуешь наших читателей. Бог в помощь! А теперь гони Рубенса!»), как из-под яблонь раздался торжествующий крик. Можно даже сказать, и не крик, а вопль, чуть ли не животного, и в нем были не только торжество, но и восторг, и будто бы утоление страсти. А через секунды на террасу влетела Лоренца с тремя здоровенными улитками в руках.

– Виноградные! – вскричала Лоренца. – Виноградные улитки!

– Не мешайте! – поморщился Ковригин. – Ну, улитки. Ну и что?

– Виноградные улитки! – не могла успокоиться Лоренца. – Они вкуснее, они сладостнее устриц!

– Ну и ешьте их на здоровье! – высказался Ковригин в раздражении. – Если вам они милее сосисок! Если те для вас – и не сосиски вовсе, а соя в презервативе! Сам не зная отчего, Ковригин выступал теперь правозащитником своих съестных припасов.

– Откуда они в вашем саду? – волновалась Лоренца.

Ковригин принял из её рук улитку на обозрение. Пальцы

гостыи были холодные. Лоренца будто бы оценила его ощущения, и от пальцев её тотчас пошел пар. Улитка была раз в пять крупнее обычной пожирательницы грибных шляпок и листьев капусты, откормленное тело её вываливалось из хитинового рога раковины.

В одной из своих поездок Ковригин попал на берег Западной Двины в немецкий некогда, а потом – еврейско-русский городок Креславль (ныне – гордо шуршащая латами Краслава). Там, в парке возле замка остзейского барона, осенними ночами охотники с ведрами и фонарями производили отлов виноградных улиток, улитки в досчатых ящиках ползали в поисках спасительных щелей, скрипели, скреблись, по шесть тонн деликатеса каждый сезон отправляли самолетами во Францию и Бельгию.

– Ну и что? – повторил Ковригин. – Ну, виноградные улитки. Потепление. В газетах писали. Теперь и у нас жрут что не попадя. Говорят, объявились у оврага...

– Где овраг? – спросила Лоренца.

– А там... От меня – к югу. Там живет страшный и лохматый Зыкей...

– Тащи ведро! Или корзинку! – в воодушевлении Лоренца перешла на «ты».

С ведром она перебралась через садовый забор, да что – перебралась, перелетела через него и пропала в березовой приколодезной роще.

– Там цапля стоит, – зачем-то бросил ей вслед Ковригин.

Ковригин, успокоившись, вычитал гранки, удивился нынешней деликатности Дувакина, правка того была техническая, ехидными замечаниями поля он не позолотил, отнесся к тексту даже и без мелких издевок. А мелкие-то издевки Дувакина, кстати, выходили обычно самыми обидными.

Великодушным и добродетельным вельможей, возможно перечитавшим накануне творение Гаврилы Романовича Державина, восседал сейчас в Москве редактор Дувакин. Ковригин схватил было сотовый телефон, но рядом с ним, гремя ведерком, возникла Лоренца.

– А говорил, что нечем кормить! И цапли уже никакой нет! Где у вас накрывают на стол?

– На кухне... – пробормотал Ковригин.

– Ну хотя бы и на кухне! – вскричала Лоренца. – Ну хотя бы и в этом скособоченном сараюшке! Хотя бы и рядом с газовой плитой! Иставляй обещанные напитки!

– Вы же... ты же за рулем! – встрепнулся Ковригин. – А Дувакин ждет к вечеру.

– Не бери в голову! – захохотала Лоренца.

И действительно, в голову в ближайшие часы Ковригин ничего не брал, если не считать закусок и напитков. К коньяку и ликеру, пошедшим в сопроводители моллюсков, неизвестно зачем преодолевших Оку (поездом, что ли?) и поперших через ковригинский садогород на Москву, был вынут из морозилки и литровый «Кузьмич», из-за чего предстояло пострадать бедолаге Рубенсу.

В холодильнике Ковригина не нашлось лимона, что Лоренцу расстроило. Впрочем, по её вкусам, к улиткам первым делом требовались сливочное масло и укроп, масло имелось, охапку же укропа доставили с грядки. Не лишними оказались майонез и уксус. Порадовала Лоренцу и предоставленная ей серебряная ложка, пусть и чайная. В соус Лоренца определила два сырых яйца, слава Богу, коробка яиц была закуплена накануне, «Ради опыта, – приговаривала Лоренца, взбалтывая яйца, – ради опыта!» Ну, ради опыта так ради опыта, нам не жалко...

И началось пиршество. То есть пировала Лоренца, с шумом, с восторгами, а Ковригин, хотя и попивал (под грибы), сидел при ней наблюдателем. А когда Лоренца, отлучив от дел серебро, схватила нож и столовую ложку и ими стала добывать деликатес, а потом и с неким хлюпающим звуком вычмокивать остатки улиток из раковин, Ковригин не выдержал и сварил молочные сосиски, показавшиеся ему, впрочем, отвратительными. Отвращение пришлось снимать полным стаканом «Кузьмича». Лоренца же, может, из-за Кузьмича, а может, и по какой иной причине, несмотря на её чмокания, отвращения у него не вызывала. Напротив... Женщина сидела рядом с ним своеобразная. Очень может быть, что и своевольная. А это Ковригину было по душе. Расцветка её (зелеными были не только глаза Лоренцы, кстати, они лишились полнолунной круглости, по хотению Лоренцы или сами по себе, но зелёными были и её ресницы, брови углом, тени

на веках, помада на чуть припухлых губах жаждущего рта, «да он расходится у неё дальше ушей...») сейчас несколько не раздражала и не удивляла его. Виделась она азартным животным, самкой несомненной, скорее всего из хищников. В своем чавкающем удовольствии и урчании она не только не порождала в Ковригине неприятные чувства и тем более – позы к тошноте, а, пожалуй, даже радовала его и вызывала возбуждение, напоминавшее о том, что и он самец.

– Ах! Все! – вырвалось из Лоренцы, и отрыжка заполненных желудка и пищевода подтвердила её удовлетворенное ходом жизни состояние. Она живот погладила, крикнула и, снова не сдержав отрыжки, произнесла: – А ты, Ковригин, халтурщик...

– То есть как? – удивился Ковригин. – Почему я халтурщик? И в каком смысле?

Лоренца зевнула. Сказала:

– Небо затягивает. И холодает. Как бы заморозки не случились. Ты бы печку протопил.

– Протоплю, – хмуро сказал Ковригин. – Хотя и не вижу в этом нужды. Так почему я халтурщик?

– О Рубенсе сочиняешь. В компьютер перегоняешь текст. А у самого на столе книги разложены и тетради с выписками из других книг. То есть ты обыкновенный компилятор. Сдираешь у других.

– Ты недавно в журнале?

– Ну, типа того...

– Ты о Рубенсе слышала?

– Слышала, слышала... У меня у самой... В одном из домов висит Рубенс... «Леда и лебедь»...

– Тот, что ещё вчера висел в Дрездене?

– В Дрездене – копия! – возмутилась Лоренца. – У меня оригинал.

– Ну, понятно, – кивнул Ковригин. – Поздравляю Дрезден. А об открытии Америки ты что-нибудь знаешь?

– Ну, знаю, знаю... – капризно произнесла Лоренца, будто отмахиваясь от Ковригина. – Училась не в самом худшем вузе. Колумб там и тра-та-та...

– Судя по твоему выговору, училась ты в Сорбонне. Или в Гейдельберге. Так надо понимать.

– Увы, Сашенька, училась я на станции Трудовая Савёловской железной дороги. Во Всероссийском институте Кожеводства, в народе – ВГИК.

– А я по бабке с дедом – яхромский! – обрадовался Ковригин. – От Трудовой километров десять к северу. А ты, стало быть, внучка маршала авиации. В Трудовой – их дачи.

– Ну, типа того, – икнула Лоренца. – Ты дрова для печки волоки.

– Чего же ты не приехала ко мне на кобыле или хотя бы на белом коне?

– Кобылы курьерам не положены, – сказала Лоренца.

– Каким курьерам? – удивился Ковригин.

– Не бери в голову, – сказала Лоренца. – Беги в сарай за

дровишками.

Ковригин сбегал. Лоренца перешла в дом, к печке,хватила с собой бутылку коньяка «Золото Дербента» и, зажав ноздри пальцами, боролась теперь с икотой.

– У тебя только одна комната будет прогрета, – сказала Лоренца. – А в ней один приличный диван. Придется тебе спать на полу у печки. Или со мной на диване. Если не побрезгуешь.

– Посмотрим, – проворчал Ковригин. – А что это ты зажимаешь ноздри?

– Задерживаю дыхание. До двадцати двух. И икота обязана пропасть. Или перейти на Федота. Совет тренера. Я ведь долго и всерьез занималась плаванием.

– Плавала, наверняка, брассом?

– Почему брассом? Кролем! Я крольчиха. Мы – братцы и сестры кролики.

– Ну значит, – сказал Ковригин, разжигая дрова, – Колумб там и тра-та-та? А дальше что?

– Колумб Америку открыл, чтоб доказать земли вращенье. И дальше – всякая чушь. Знаю, знаю, – поморщилась Лоренца, – вовсе он и не собирался открывать Америку, а из-за поганных турок, захвативших Константинополь с проливами, поперся в Индию обходным путем за какими-то пряностями и кореньями, то ли за гвоздикой или за ванилью, будто без них за столами был бы ущерб аппетитам...

– Бедный Колумб, – вздохнул Ковригин. – А он так и умер,

не узнав, что «морем мрака» добрался не до Индии. Одна из радостей сухопутно-преклонных лет адмирала в Испании состояла в том, что ему позволили передвигаться не на лошади, а на муле, его мучала подагра, и взбираться на мула было легче, да и трясло меньше. Королевские милости. Ты вот училась на коневода или на производителя колбасы «казы», а наверняка не знаешь, что в ту пору в этих двух Лже-Индиях лошади не водились.

– Не знаю, – зевнула Лоренца. – Может, и знала, но забыла... Ну и что?

– Да ничего, – сказал Ковригин.

– Спасибо за лекцию, – сказала Лоренца. – Ты меня занудил. И вроде бы захорошел, языком еле ворочал. А тут тебя понесло как по писанному. Чегой-то ты протрезвел? Под одеяло надо лезть. А ты полез на кафедру. К чему эта лекция?

«И действительно, – спохватился Ковригин. – Что это со мной? Ведь и вправду хорош был, а теперь как протертый тряпкой хрусталь. Неужели она меня так раззадорила и раздосадовала своим „халтурщиком“? Неужто меня так задело мнение какой-то заезжей Лоренцы Шинель?»

– Подожди с одеялом, – сказал Ковригин. – Печка должна отдать тепло. Ты меня сама завела. А с Рубенсом случай такой. Сложилось понятие «Нидерланды во времена Рембрандта». Нидерланды-то тогда процветали. А кто был Рембрандт? Никто. Поставщик товара для заполнения пустот на

стене в доме бургера. Кустарь из гильдии художников, многие члены которой, даже такие, как Хальс или Рейсдал, кончали жизнь в богадельнях. Маляр. Из тех, кого поджидали удобства долговой ямы. Ремесленник, ничем не значительнее кузнеца, красильщика тканей, и уж куда мельче сыродела или торговца тюльпанами. Это теперь мы охаем: Рембрандт, малые голландцы, миллионы долларов, нет им цены! А тогда была цена. Не дороже обоев. Понятно, я тут всё упрощаю... Рубенс был из Фландрии, Фландрия же входила семнадцатым штатом в Нижние земли. Что его подвигало в дипломаты, а по сути и в разведчики – тщеславие, желание вырваться из круга ремесленников в люди знатные, в аристократы, или жажда больших денег и большего почитания? Я пытаюсь понять и истолковать его жизнь, опять же по разумениям нынешнего московского обывателя, мне это необходимо... Может, для тебя это всё халтура, но иного я пока не умею... А для кого-то мои суждения могут оказаться и интересными... Впрочем, с чего бы и на какой хрен я вдруг принялся оправдываться перед тобой?

«Да ведь это не перед ней я оправдываюсь, – подумал Ковригин, – а перед самим собой... Она-то, поди, уже дремлет. Или даже дрыхнет. Эко я опасно и необъяснимо протрезвел. Фразы вывожу складно. Будто держу в голове всё своё сочинение. Нет, надо сейчас же обуздать себя „Кузьмичем“».

И взялся обуздывать.

– Оправдания твои были лишние, – услышал он, глаза Лоренцы были открыты. – А я о тебе знаю и нечто уважительное. Мне приходилось иметь дело с некоторыми твоими знакомыми.

Были перечислены эти знакомые. Имена их Ковригина не удивили. Однако упоминание Лоренцой одного из его приятелей Ковригина насторожило. И даже Ковригину показалось, что Лоренца вспомнила сейчас Лёху Чибикова не просто так, а с неким умыслом, словно знала нечто такое, что Ковригину не хотелось открывать ни ей, ни кому-либо другому. Или ждала от Ковригина вопроса, откуда она знает Чибикова и какой у неё к нему интерес.

Но Ковригин фамилию Чибикова будто бы не расслышал.

– Кстати, дорогой друг, Александр Андреевич, – спросила Лоренца, – а годов-то тебе сколько?

– Тридцать четыре, – сказал Ковригин. – Ну... тридцать пять скоро будет. А что?

– Ничего, – сказала Лоренца. – Выглядишь старше. Лет на сорок – сорок два...

– Изможден превратностями лирических приключений, – сказал Ковригин. – А у тебя я и...

– И не спрашивай. Врать лишний раз не хочу... Но коли ты такой воспитанный и облегчил жизнь Колумбу мулом, пора, наконец, тебе оказать и мне почести гостеприимства. Накормила-то я себя сама... Вон уже какой ливень за окном. Может, в снег перейдет. А сейчас-то мы не протечем?

– Если прольет, то только на террасе, – сказал Ковригин.

– А жаль, – будто бы вздохнула Лоренца. – Но все равно, стели постельку. Белье у тебя, чую, в том ящике. Ага, свежее. Могу доверить тебе снять с меня доспехи.

И Ковригин вовсе не противу желания, а пожалуй, и с охотой проявил себя постельничим или оруженосцем (коли произнесено – «доспехи»), снял с Лоренцы и, будто бы с изяществом, ковбойские сапоги, куртку поднебесную с красными клиньями и кожаные байкерские штаны. Полагал (и даже надеялся на это) увидеть на теле гостыи тончайшее (или напротив – «под деревню»), призывающее к эротическим подвигам белье, но под курткой и штанами обнаружилось нечто сплошное, то ли резиновое, то ли из неведомых Ковригину субстанций одеяние космических или подводных предназначений. Ноги Лоренцы Ковригина удивили и, уж точно, разочаровали: длиннющие, они, похоже, были без радующих мужиков утолщений у бедер и могли держать на себе известную в восточно-славянском фольклоре избушку. «А ещё заявляла, что занималась кролем!» – засомневался Ковригин.

– И это всё? – строго спросил Ковригин. – Я укладываюсь на лежанку вон у той стены и гашу свет.

– Как это всё! – возмутилась Лоренца. – А любовь оруженосца к госпоже? Без этого сегодня нельзя. Лампу настольную оставь. И поднеси мне напиток богов. Конечно, было бы замечательно произвести сейчас омовение, допустить к телам прислугу с благовониями, зажечь свечи в канделябрах,

не эти, конечно, огрызки, что в вашем бунгало, позвать толпящихся у дверей музыкантов, шутов и в особенности – бродячих жонглеров. Но откуда всё это нынче взялось бы!

– Вечная помпезность великого шутовства снобов и сильных мира сего, – произнес вдруг Ковригин чьи-то чужие слова.

– Это ты о чём? – взволновалась Лоренца.

– Ни о чем, – быстро сказал Ковригин. И обратился к «Кузьмичу».

– Насчет бродячих жонглеров ты определенно не прав. Сама всю жизнь стремилась быть бродячим жонглером. Да где же ты? Иди сюда. С нектаром. И со своей телесной оболочкой. И брысь под одеяло!

Под одеялом тело Лоренцы было обнадёживающе (впрочем, и пугающе) голое, «не бойся, – сказала она, – оно уже наполненное», руки исследователя Ковригина сползли вниз, и были им обнаружены достойные Венеры бедра, ноги же Лоренцы (и на ощупь, не одними лишь руками на ощупь) оказались, как пришло в голову Ковригину, пышнобокими – и вверху, и у икр, а ягодичы её требовали более длительных и сладостных изучений, и руки Ковригина на время были отозваны им к плечам и груди Лоренцы.

– Что ты застрял на мне? – выразила недоумение Лоренца. – Бородавки, что ли, или перья какие или роговые наросты ты ищешь на мне? Напрасно. Всё на мне как положено. А может, и лучше, нежели положено. И рыцарю твоему уже

пора войти в мой дворец. Мы созрели...

Позже, впадая в дремоту, Ковригин посчитал, что потолок над ним протек, и это было странно, крыша чердака над комнатой никогда не текла.

Вышло, что Ковригин проспал до двух часов среды.

Если бы не Кардиганов-Амазонкин, спал бы и до вечера.

Но Амазонкин уже стучал в дверь террасы. Был сегодня не в соломенной шляпе развозчика соли в Новороссии, а в красной бейсболке. Интерес Амазонкина к спорту подтверждала майка с физиономией Маши Шараповой и рекламой фартового дезодоранта, а также сатиновые (но может, и шелковые? или из «чертовой кожи»?) трусы негра-баскетболиста из Филадельфии, ниспадающие ниже колен прямо на известные в поселке кирзовые сапоги с укороченными голенищами. В руке у него была плетеная корзина для грибов.

– День-то какой летний! Ни облачка. Жара! – обрадовался Ковригину Амазонкин. Показал на головной убор: – Это мне Лоренца Козимовна презентовала. И майку.

Ковригин хотел поинтересоваться, не в комплекте ли к бейсболке и майке презентованы и афро-американские трусы. Но тут же сообразил:

– Кто-кто?

– Лоренца Козимовна. Благополучия ей и процветания. Я ей ворота утром открывал. Она уезжала. У нас теперь новые ключи от ворот. Ах, ну да, вы же не ходите на собрания. Очень приятная женщина Лоренца Козимовна, – Амазонкин смотрел на Ковригина искательно и чуть ли не с любовью.

– Лоренца Козимовна... – пробормотал Ковригин. – Лоренца Козимовна... Случайно, не Медичи?..

– Да что вы! – взмахнул свободной рукой Амазонкин. – Какие здесь могут быть Медичи? У неё простая народная фамилия. Шинель.

– Ну да, ну да... Она же говорила. Шинель.

– А я в лес сходил, – сказал Амазонкин. – Думал, после вчерашнего ливня грибы выскочат. Нет. Но уж завтра-то наверняка появятся.

«Зеленые поганки!» – подумал Ковригин.

– Прокопий Николаевич, – сказал Ковригин, – мне надо за работу садиться. Лоренца... Козимовна... специально приехала со срочным для меня заданием...

– Понял, понял, – заторопился Амазонкин. – Удаляюсь. При случае – Лоренце Козимовне привет и почтение.

– Всенепременно, – сказал Ковригин.

«Шинель... Ливень», – соображал он.

Вспомнилось. Прежде чем рухнуть в пропасть сна, ощутил: будто бы с потолка стало лить и следовало поставить под капель ведро или таз. Но сейчас в комнате с печью, по привычке называемой Детской, было сухо. Ничто не намокло. Кстати, простыня, наволочки и пододеяльник, будто бы ставшие вчера обеспечением гостеприимства, лежали в бельеовом ящике нетронутые. Ковригин поднялся на чердак, и там было сухо, и самое главное – послевоенные, сороковых годов, комплекты «Огоньков», «Крокодила» и «Смены», пе-

ревязанные бечевкой, лежали ничем не порченные. Теперь Ковригин произвел более тщательный осмотр Детской, коли бы погода еще дней пять продержалась солнечной и теплой, на выходные могла прикатить сестра с детишками, и чужие, тем более (предполагаемо) женские, запахи её бы покорибли. А раздражать сестру Ковригин не любил.

Нет, Детская совершенно не помнила ни о какой Лоренце Козимовне. Но ведь этому болвану с кривыми ногами конника Буденного, Амазонкину, Лоренца Козимовна не только мерещилась, но и подарила бейсболку с майкой, вещи осязаемые. Да и для Ковригина, получалось, она была осязаемой, он помнил свои впечатления о её бедрах и ногах «на ощупь», и забавы с её телом чудились ему теперь сладостными, и если бы кто потребовал от Ковригина аттестации побывавшей с ним под одеялом самки, аттестации эти вышли бы самыми лестными. Но никто их не требовал, да и никому и не для кого-либо Ковригин их давать не стал бы. Он лишь ощущал сейчас сладость ночных лешачьих игр.

«Почему же лешачьих?» – сразу же кто-то запротестовал в нем. Впрочем, слово это можно было толковать и как образное, как обозначение пусть именно физиологических удовольствий и игр, прежде Ковригиным не испытанных, но полености его ума и склонности (на первый раз) к стереотипам отнесенное им к явлениям сказочным или дурманным. Однако известно ли ему, Ковригину, подлинно, на что способна в своем воодушевлении (исступлении? животной страсти?)

женщина? Откуда? Если и изведена им женщина, даже и при его опыте повесы (или легенде о нем как о повесе), то лишь на толику или на йоту.

«Нет! – пытался убедить и успокоить себя Ковригин. – Всё это было во сне! Или – в дурмане!»

И требовалось дурман истребить. При этом Амазонкин с его бейсболкой, майкой и даже с его знанием отчества фантомной Лоренцы отбрасывался в никуда или хотя бы вписывался в случай дурмана.

Надо заметить (а Ковригин заметил), что, употребляя в мыслях слово «сон», Ковригин ни разу не соединил его со словом «кошмарный». Да и «дурман», похоже, у Ковригина, хотя был ему необъясним и рождал в нем недоумения, не вызывал чувства брезгливости или жути.

Чего не было, того не было. А что было, то было.

И теперь он пытался вспомнить, какой виделась и ощущалась им (во сне ли, в дурмане ли) Лоренца Козимовна.

Отчего он, пусть и спросонья, в разговоре с неудачливым нынче грибником Амазонкиным подумал: «Зеленые поганки!»? Не бледные, не ядовито-голубые, а именно зеленые? Разве гостья была зеленая? Ну да, ресницы, тени на веки наведенные, брови, вроде бы и губы были у неё зелёные. Но разве это нынче редкость или странность? А волосы? Какого цвета у неё были волосы Ковригин не мог теперь установить для себя с определенностью. Ну хоть бы и зелёные! В эти секунды до него дошло, что умственные упражнения

свои он производит, стоя в одних трусах. Мозгом тотчас же был отдан приказ, и рука Ковригина оттянула резинку трусов. Нет, никакой зелени на нем не было. «А не наградила ли она меня какой-нибудь хворобой? – подскочило в Ковригине пробившееся бочком соображение. – Не понадобится ли мне теперь анонимное лечение?» Но если бы наградила, следовало бы признать реальность личности Лоренцы Козимовны и её законное выпадение из сна и дурмана. Вспомнилась и ещё всякая чепуха. При одном из жарких прикосновений к ночному телу гости Ковригин чуть ли не поинтересовался вслух, как бы в шутку: не соломинкой ли были приданы столь прекраснорышние формы овалам и выпуклостям мускулистой на вид байкерши. Не поинтересовался. Но тут же услышал: «Что это тебе, Сашенька, лезут в голову всякие ерундовины, вызванные комплексами яхромского детства! Соломинки нужны лишь в коктейль-барах. Сейчас я тебя проглочу, вберу в себя всего тебя, и ты застонешь от истомы в поднебесьях!».

«Да что я маюсь! – отругал себя Ковригин. – Надо сейчас же звонить Дувакину и всё разъяснить!»

Но посчитал, что производить звонок редактору культуртрегерского журнала, пребывая лишь в трусах, вышло бы делом невежливым, и натянул на себя спортивный костюм. При этом ощутил, что во рту гадко и необходимо сейчас же почистить зубы и выпить хотя бы стакан горячего чая. А для этого надо отправиться на кухню.

Желтый домик кухни с газовой плитой о две комфорки, шкафчиками для посуды и круп, холодильником, раздвижным столом, покрытым клеёнкой, и гостевым матрасом на деревянных лапах – радость, ресторан, кров полевых и амбарных мышей, стоял под берёзами у калитки. День был и впрямь июльски-жарким, из кухни же пахнуло холодом и сыростью, в домик ночью все же, видимо, накапало.

На пустой клеёнке стола Ковригин обнаружил листок бумаги и визитную карточку, отменившие немедленность звонка Дувакину.

Визитка была скромная. Но с золочеными буквами. «Лоренца Козимовна Шинэль. Странница. Знаток искусств. Переводчица с любого языка на доступный. Хозяйка ресторана-дирижабеля „Чудеса в стратосфере“ и коктейль-бара „Девятое дно“». Сообщался и номер некоего факса.

«И не Шинель, отечественная, по версии Амазонкина, – отметил Ковригин. – А Шинэль».

Бумажный листок был исписан утренней (так выходило из нижних чисел) рукой Лоренцы Козимовны.

«Сашенька! Спасибо за всё. Ты был хорош. И я, по моему, не оплошала. И моей отметине пуповины ты отдал должное. У тебя вкус – эстета. То, что я о тебе слышала, подтвердилось. Не в одну лишь ночь, понятно. Но и не во всем. Будить я тебя не стала. Подкрепилась перед отбытием. Отыскала на соседнем участке три откормленных улитки – и сыта. Укроп рвала твой. Не обессудь. И вспомни слова: „Хороша ли жен-

щина, плоха ли, ей надо изведать палки“. Они – не мои. А великих гуманистов Возрождения. Меня не отгадывай и не разыскивай. И не старайся угадать, в чем был мой интерес к тебе. Я коварная. И растворимая. Быстро растворимая. Твоя Л.»

«Не хватало ещё! – поморщился Ковригин. – Главное – твоя Л.!»

Перевернул листок. Прочитал: «А может, и не совсем коварная. И не пугайся – не твоя. Л.».

Тут и заверещал сотовый телефон.

Ковригин не спешил, понимал: чаю сейчас не выпить. Но зубы почистить следовало. И глотку освежить.

Он не переставал думать о Лоренце и её записке. И загрустил.

«Стало быть, я отдал должное её отметине пуповины. Так... И проявил при этом вкус эстета. Только лишь эстета? Пупок у неё был таинственно-влекущий...» Реальность женского пупка казалась для Ковригина существенной. Лет пять назад одна из его подруг, о размерах и прелестях чьей груди судачила половина просвещённой Москвы, по велениям новейших наук, разыскивала на (или – в) своем теле тридцать четыре эрогенные зоны и выставляла им оценки по двенадцатибалльной системе. Естественно, грудь её получила первое место, а также приз зрительских симпатий. Подругу эту чрезвычайно удивило то, что у Ковригина куда больше эмоций, нежели её грудь, вызывал её же пупок, в тот год

для публики закрытый и ещё не окружённый татуировками и пирсингами. Чтобы не обижать подругу, пусть и временную, Ковригин написал тогда пронзительный эпиграммой пупкам, открыв его исследованием Пупа Земли (в примеры был взят им Дельфийский Омфал), лелеемого во многих культурах и явно имевшего мировой фаллический смысл, особое же место уделил в эпиграмме Пуповине, связывавшей Землю и её тварей с матерью-прародительницей, то есть с женским началом сущего, а потому (это уже для непонятливой подруги) и воспел пупок как свидетельство женского начала (по Лоренце – отметина пуповины), направляющего к лону зарождения жизни грешных путников мужского пола, оплодотворителей, то есть существ вспомогательных, хотя и полагавших, что они пупы Земли, распорядители силы и плодородия. И уверил читателей (подругу – прежде всего) в том, что и пупок женский, и лоно женское у существ, в него проникающих, вызывают чувства вселенского томления, тепла, ласки, даже тоски, но и (хоть на мгновения) слияния со всем сущим и избавления от одиночества. А похоти – в последнюю очередь. Хотя, конечно, для многих проникновение это оказывалось (или казалось) греховно-сладостным входом в дыру преисподней... Сочинение вышло лукавым. Обильно оснащённым случаями мифологическими (были привлечены даже туземцы Западной Австралии с их понятиями о пуповине) и историями из новых времен. Но во многом и искренним. Для тех дней. Впрочем, Ковригин и теперь не стал

бы от него отказываться...

Звонил Петр Дмитриевич Дувакин.

— Ковригин! — заторопился Дувакин. — Ты что, спишь, что ли? Почиваешь на лаврах? Я уж часа три жду от тебя звонка. Все бумаги твои получил. И вёрстку. И эссе про Рубенса.

— Я думал, она ещё не доехала... — растерялся Ковригин. — Пробки-то нынче какие! Растеплило ведь...

— Кто она? — спросил Дувакин.

— Сотрудница ваша, — сказал Ковригин, — та, что вёрстку привозила...

— Какая такая сотрудница?

— Как, то есть, какая? — удивился Ковригин. — Лоренца Козимовна Шинэль... Очень своеобразная дама...

— У нас нет таких сотрудниц, — сердито сказал Дувакин.

— А кто же ко мне приезжал с вёрсткой?

— Откуда я знаю! Надо спросить у Марины. Марина её посылала. Курьерша какая-нибудь из агентства.

— Соедини меня с Мариной! — нервно потребовал Ковригин.

— Потом соединю, — сказал Дувакин. — Будет у тебя время полюбезничать с Мариной. А сейчас у меня нет времени. Я ещё вчера прочитал и вёрстку, и эссе...

— Как вчера? — воскликнул Ковригин. — Она... эта ваша сотрудница... или курьерша... отбыла в Москву нынче утром...

— Слушай, Шура, хватит дурачиться! Если бы не твоё эссе

про Рубенса, я бы сейчас же прекратил разговор с тобой. Я скуп на похвалы, знаешь сам, но вчера ты меня просто порадовал.

«Какое ещё эссе про Рубенса?» – хотел было спросить Ковригин, но сообразил, что спрашивать Дувакина о чем-либо – себя выставить дураком, а надо слушать его и всё.

– Мне даже захотелось Рубенса твоего поставить в горячий номер. Снять материала три и поставить. Но у тебя двадцать четыре страницы – это много. Столько не снимешь. Да и иллюстрации так срочно не подберешь. В следующий ставлю. Но ты молодец! И опять удачно применил свой метод. Взгляд московского обывателя, вчера – человека с авоськой, нынче – с сумкой на колесиках, простака или будто бы прикидывающегося простачком неразумным, взгляд его на вещи глубинные, обросшие мхом банальностей. Типа: «Подумаешь, Америку открыл!» или «То же мне, Пуп Земли!» Тут простор и свобода для парадоксов, столкновений несовместимостей, озорства. А главное – для просветительства. Да что я талдычу о тебе известном. Хотя о Пупе Дельфийском ты, небось, уже и забыл... И тут вышло. Что многие держат в голове? Рубенс, голые мясистые бабы, Рембрандт, сумасшедший литовец «Данаю» кислотой испоганил... А на самом-то деле... Нет, молодец! И язык хорош. Во второй части, правда, случаются у тебя клочковатости, логические лоскуты, но от этого сочинение становится нервнее, что ли, и трогает больше... Извини, что разболтался. Но ты меня взволновал.

Ты чего молчишь-то, Ковригин?

— Да я... это... — принялся бормотать Ковригин. — Ты меня тоже взволновал...

— А вот костяшки твои, пороховницы-натруски, меня все же удивили, — сказал Дувакин. — Своей наукообразностью. Будто ты записной классификатор, вопреки своей доктрине. Но я чувствую, чувствую, вчера я уже говорил тебе об этом, что в статье ты что-то прячешь, хитрец, интерес какой-то собственный, чужие интересы желаешь к нему при-тянуть. А потом что-нибудь и наковыряешь...

— Посмотрим... — закашлялся вдруг Ковригин.

— Да! — будто бы спохватился Дувакин. — А коробку-то она тебе доставила?

— Вроде бы... — неуверенно сказал Ковригин. — Но я сразу взялся за гранки, коли с пороховницами возникла поспешность...

— Значит, ты материалы, посланные тебе, не просмотрел?

— Нет. Пока нет... — подорвавшим здоровье тружеником заговорил Ковригин, только теперь он вспомнил о картонной коробке, перепоясанной упаковочным скотчем.

И сразу же увидел её. Она стояла под столом, некогда раздвижным, обеденным в московской коммунальной квартире, нынче же скромно-кухонным. Рядом с плетеной корзиной, в какой у Ковригина хранились лук и чеснок. «Ну, слава Богу, — подумал Ковригин. — Здесь она...»

— Коробка у меня под рукой! — чуть ли не с наглостью про-

изнес Ковригин. – Сейчас я ею и займусь. Хотя у меня были и другие намерения.

– Шалопай ты всё же, Шура! – сказал Дувакин. – Займись, займись. И немедленно. А разобрав материалы, обкумекай их. И позвони мне. Скажу лишь предварительно. Интерес – и в письмах к нам, и в разговорах с людьми читающими, – к персонажам, в благодные годы обложенным идеологической ватой и посыпанным нафталином. Начнем с двух дам. Марины Мнишек. И Софьи Романовой. Да, той самой, какую художник Репин изобразил пухлой уродиной, а пролетарский граф вывел ретроградкой и интриганшей...

– Но... – будто бы начал протестовать Ковригин. Но тут же понял, что поводов для протеста у него нет.

– Всё, всё! – строго заявил Дувакин.

– погоди! – вскричал Ковригин. – Ты обещал соединить меня с Мариной!

– Это можно, – сказал Дувакин. – Это пожалуйста!

– Шурчонок! Сан Дреич! – заурчала Марина. – Ты, говорят, шедевры нам прислал. Когда сам-то к нам заявишься? Соскучились. Защекочим!

– Вот пройдут опята. Все соберу и вернусь! – заверил Ковригин. – У меня к тебе вопрос.

– Хоть сто!

– Кто такая Лоренца?

– Какая Лоренца?

– Лоренца Козимовна Шинэль.

– Кто такая Лоренца Козимовна Шинель?

– Это я тебя спрашиваю! – рассердился Ковригин. – Она привозила ко мне вёрстку на вычитку. И коробку от Дувакина. Вчера привезла. Сегодня утром отъехала. На серебрястом «лендровере». Сказала, что она сотрудница журнала.

Сразу же вспомнил. Она не говорила, что она сотрудница журнала. Это он спросил: «Вы новая сотрудница?» Она ответила: «Типа того...» Надо было слушать!

– Ну, Шурчонок, ты шалун! – обрадовалась Марина. – Вчера приехала, утром отъехала. И я её понимаю!

– Марин, мне не до шуток.

– Как, ты говоришь, она назвалась?

– Лоренца Козимовна Шинэль, – растягивая гласные произнес Ковригин. – И именно – Шинэль, через «э». Так напечатано на её визитной карточке.

– Сотрудницы у нас такой нет, – сказала Марина. – А посылала я к тебе курьершу-рассыльную из агентства «С толстой сумкой на ремне». Подожди, сейчас я им позвоню, выясню.

Ковригин присел на «гостевой» матрац с ножками, слышал, как Марина переговаривалась с кем-то и как она расхоталась.

– Сан Дреич! Я тебя обрадую! – не могла успокоиться Марина. – Посылали к тебе курьершу по имени Лариса Кузьевна Сухомятьева. Именно – не Козьминишна и не Казимировна, а – так записано – Кузьевна. Выходит, что у нашей Лари-

сы родитель – Кузя, Кузька, у того, сам знаешь, какая мать. А Сухомятьева – это как раз в подбор к Ковригину. Я за тебя рада. И никакая она не Шинэль, а Ку-ку. И ты – Ку-ку. И поехала она к тебе не на «лендровере», а на электричке. До утра же она оставалась у тебя в фантазиях. Твои бумаги я приняла от неё вчера.

– А как её найти? – спросил Ковригин.

– Она в агентстве в разряде «одноразовых поручений». Приедешь в Москву, зайдешь к ним, узнаешь, что надо.

– Вряд ли я буду делать это, – сказал Ковригин.

И он дал передых сотовому.

От новостей о курьерше агентства «С толстой сумкой на ремне» и её миссии следовало отвлечься хотя бы на время, и Ковригин поводом для отвлечений выбрал картонную коробку Дувакина. Ленты скотча были сорваны, и Ковригин увидел две стопки книг и репринтов. Быстро перебрал их, в иные и заглянул. Все они так или иначе были связаны с личностями Марины Мнишек, царевны Софьи и её старшего брата, царя Федора Алексеевича. В разговоре Фёдора Алексеевича Дувакин не упомянул, его, как заказчика, интересовали, выходило, лишь две исторические дамы. Одна из присланных книг ни с какого бока ни к Марине, ни к Софье не подходила, а являлась вторым томом худлитовского издания сочинений Аристофана. В неё была вложена записка Дувакина. «Шура! Вот тебе Аристофан, о коем ты просил. Извини, что не мог добыть том из довоенной „Академии“, но и

тут названная тобой пьеса дана в переводе А. В. Пиотровского». Ковригин принялся вспоминать, когда это он просил Дувакина об Аристофане, но вспомнить не смог. Во втором томе Аристофана было ужато восемь пьес, одна из них, переведенная А. В. Пиотровским, именовалась – «Лягушки».

Так, так, так. Ещё и «Лягушки»!

То есть да, по приезду в Москву он собирался перечитать Аристофана, в доме тот был, но просить о срочной присылке «Лягушек» Дувакина у него не было ни времени, ни необходимости.

Теперь он вцепился глазами в тексты афинского комедиографа и просидел с ними часа два.

Всё же обижаться на свою память он не мог. И при студенческом прочтении «Лягушек», правда – легкомысленно-предэкзаменационном и скоростном, он так и не понял, при чем там лягушки. И теперь он обнаружил лягушек («лягушек-лебедей», отчего так назвал их Харон?) лишь в одном эпизоде «комической пантомимы». Дионис, отправляясь в ведомство Харона, чтобы устроить там выяснение отношений Эсхила и Еврипида, в лодке с Хароном оказывается нелепым гребцом, и хор лягушек высмеивает и подзадоривает его. Болотных вод дети, естественно, производят звуки: «Брекекекс, коакс, коакс», объявляют Диониса трусом, болтуном, лентяем. По их убеждениям, их пение любят сладостные музы, козлоногий игрец на свирели Пан, форминга Аполлона им вторит. А вот что существенно: «Так мы ска-

чем ярко-солнечными днями меж струй и кувшинок, прорезая тишь веселой переливчатой песней, так пред Зевсовым ненастьем в час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок, лопающихся пузырьков». Лопающиеся пузырьки, след проворных плясок. И далее опять: «Брекекекс, коакс, коакс» (по-эллинически, что ли?), и всё.

Потом переварю Аристофана, решил Ковригин, может, обнаружу в этих лопающихся пузырьках иные смыслы.

А вот в недавний мокрый день на шоссе проворных плясок не наблюдалось...

Солнце между тем уходило с участка, и Ковригин спохватился. Надо было поесть, после утреннего, то есть дневного, чая в желудок он ничего не отправил. Сотворять горячее желания не возникло, Ковригин изготовил бутерброды – с колбасой и сыром, открыл банку пива. «Опять ем в сухоматку! – отругал он себя. – Хоть бы суп сварил из концентрата!»

В сухоматку!

Лоренца Козимовна Шинэль.

Лариса Кузьевна Сухомятьева!

Что-то по поводу эпизода с этой Шинэль-Сухомятьевой необходимо было постановить, и сейчас же.

Много случилось в этом эпизоде странностей, но несколько вышло особенных. Прежде всего, что это за эссе про Рубенса, доставленное Дувакину? Позвонить сейчас же Петру Дмитриевичу и сообщить ему, что никакого эссе он не отправлял, эссе недописано, Ковригин не решился: наверняка

бы, вспомнив расспросы о Лоренце Козимовне Шинэль, его бы посчитали сбрендившим.

Мимоходом и как бы невзначай Лоренца назвала среди своих знакомых Лёху Чибикова. Дувакин был прав, догадавшись о секрете, упрятанном Ковригиным в статью о костяных пороховницах, и секрет этот был связан, в частности, именно с Лёхой Чибиковым. Гранки же статьи о пороховницах-натрусках доверили курьеру из агентства «С толстой сумкой на ремне»...

Разберемся, пообещал себе Ковригин, надо было успокоиться и во всём разобраться. Впрочем, и не всему стоило искать объяснения. Ни к чему хорошему это бы не привело.

Опять потревожил Ковригина телефон.

Звонила сестра.

Бабье лето продлится, сообщила она, и на выходные с детьми она приедет на дачу.

– Хорошо, – сказал Ковригин.

Хотя ничего хорошего и в этом он теперь не углядел.

Перешел в дом (с пивом) и засел за тексты о Марине Мнишек и царевне Софье...

Нырнув в сон, успел, будто успокаивая себя, примиряя себя с чем-то, подумать: «А ведь был у неё пупок. Был. Как неприкрытая реальность реальной женщины...»

Утром Ковригин отправился в лес.

В ельнике, а земля здесь под россыпями желтых иголок оставалась сырой, было душно, Ковригин хотел было стянуть с себя майку, но ожившая мошकारа отговорила его сделать это.

Зеленых поганок ему не встречалось. Зато повывлезали повсюду мухоморы, и красные, и кремовые с белыми пупырышками, и какие-то неведомые прежде мухоморы-зонты на тонких, чуть ли не в полметра высотой ножках.

Радовали Ковригина сыроежки с зелеными шляпками. Вполне возможно, зеленые сыроежки уже упоминались в этой истории. Никакого отношения к зеленой раскраске Лоренцы Козимовны Шинэль иметь они не могли.

В отличие от сыроежек с красными или желтыми шляпками, зелёные сыроежки были – крепыши и годились в маринад, в засолку и в отвар (на пять минут) для своевременной закуски. Но особо ценились они в семье Ковригиных по семейной традиции для приготовления тушеной картошки. Традиция эта была освоена матерью Ковригина ещё в годы её яхромского детства. Крепыши-сыроежки, а не боровики, предположим, те сберегали для засушки и жарки, именно сыроежки (с добавкой кружочками нарезанного репчатого лука, и если имелась сметана, то и сметаны) заменяли мя-

со говядины и даже чуть жирной свинины, и создавалась тушёнка ни чуть не менее вкусная, нежели тушёнка мясная. В годы войны, когда вся страна сидела на картошке, по рассказам матери, кушанье это признавалось наипервейшим деликатесом. Ковригин во взрослую пору (режим работ позволял) любил торчать на кухне, научился варить и супы, начиная с борщей и харчо и кончая восемью видами шурпы разных узбекских бекств и эмиратов, при этом импровизировал у плиты, умел тушить и грибную картошку, попробовал однажды добавить в неё дольки свежего чеснока, но только испортил её вкус. А вот лавровый лист и горошек черного перца шли в дело непременно.

Теперь он аккуратно срезал зеленые сыроежки, в уверенности, что нынче у него будет на обед горячее. По опыту знал, что на хорошую кастрюлю понадобится не меньше шестидесяти зелёных шляпок, и когда понял, что наберет грибов и на жарено, и на отвар (попадались и подгрузди – во мху вылезли чернушки, и лисички, и молоденькие подберезовики, и даже белые на ореховой опушке ельника у Леоники, и кофейнофиолетовые поддуплянки), успокоился и снова стал думать о Марине Мнишек и Софье Алексеевне Романовой.

Перебрав по утру дары Дувакина (а вернее, и не дары, а блёсны, крючки с наживками или ещё что там для заглатывания одуревшей и вовсе не от голода, а от любопытства и жадности рыбины), Ковригин понял, что перед ним вовсе не репринты, а хорошие компьютерные «списки» текстов, ска-

чанные с источников дорогим ноутбуком. Со многими этими источниками Ковригин был знаком. В частности, с так называемым «Дневником Марины Мнишек». О других слышал и даже читал выборки из них. Это были переведенные с польского в начале двадцатого века – основательное сочинение ксендза Павла Пирлинга о Дмитрие Самозванце и книга А. Гершберга «Марина Мнишек». Некоторые тексты Ковригину не были известны, их ещё предстояло освоить и переварить. «Если возникнет желание...» – на всякий случай позволил себе посвоевольничать в мыслях Ковригин. Конечно, была вложена в коробку и не раз читанная книга С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве», на взгляд Ковригина, лучшего толкователя столь печального периода русской истории. Из новых публикаций Ковригину предлагалась вышедшая в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей» монография Вячеслава Козлякова «Марина Мнишек». На глянцевой, иначе не скажешь, обложке рядом с глянцевым же портретом красавицы (вся в жемчугах, золоте и дорогих камнях) была изображена башня Коломенского кремля.

С этой башни и возбудился некогда интерес Ковригина к Марине Мнишек.

После третьего курса на практику Ковригина направили в Коломну в городскую газету. Тогда по Москвереке ещё ходили, пусть и плохонькие, теплоходы, и Ковригин доставил себе удовольствие прибыть к окскому берегу речным путем.

Из окна гостиницы (в два этажа) ему указали на кремлевские стены, колокольню прибазарной церкви и сообщили с особым значением: «А это вот Маринкина башня». Конечно, по всеобщим понятиям, как и по школьным понятиям Ковригина, Мнишек была стерва, самозванка, колдунья и фурия, помимо прочего и страшила (из-за картинок, увиденных Ковригиным в детстве, он посчитал, что хуже этой уродины с бородавкой на носу и быть не может, и только в студенчестве сообразил, что бородавку эту он пересадил на нос Марины с лица Григория Отрепьева). Маринкину башню в Коломне предъявляли чуть ли не с гордостью: здесь злодейка по делам своим маялась в заточении, здесь её по делам же уморили голодом и стужей. То, что Мнишек погибла в ином месте, Ковригин к тому времени уже знал, но в споры с городскими патриотами не вступал. Тем более что в их оценках Марины и её судьбы случались противоречия. Она была своя, коломенская злодейка. Впрочем, злодейка-то злодейкой, но ведь и страдала, а потому вызывала и сочувствие. К страдальцам же русские люди относятся и с чувством вины. Позже, побывав в Угличе и в Тобольске, Ковригин понял, что и там и царевич Дмитрий, и Николай Александрович с семейством – свои, и в принявших их городах люди, не все, естественно, ощущают себя виноватыми перед временными, по неволе, у них поселенцами. Особенно умилительным было отношение в Угличе к сосланному мальчонке, он будто бы гулял ещё где-то недалеко от Теремного дворца на берегу

Волги и вот-вот мог быть зарезан по приказу несомненного (для угличан) душегуба Годунова.

А в Коломне один из краеведов и посоветовал Ковригину познакомиться с книгой ксендза Павла Пирлинга (наверняка её, изданную в 1908-ом году, сказал он, можно получить в Москве, в Исторической библиотеке). Тогда он и зачитал практиканту выписанные из книги слова: «По страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав всё это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих её вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие»...

На четвертом курсе, по нынешним его представлениям, Ковригин дурыю маялся: пытался писать сценарии и пьесы, были причины, водил шуры-муры со студенточками из театральных вузов. Одна из них теперь Звезда, и именно для неё (или ради неё) Ковригин начал выводить на бумаге диалоги с ремарками. То есть поначалу он намеревался сочинить драму о Дмитрие Самозванце, но, перечитав все пьесы, написанные о нём (и Островского, в частности), понял, что ничего нового не создаст. Да и представления у него о многом, и о Смуте тоже, были самые приблизительные. Стал ходить на интеллектуальные «игры» студенческого общества историков (из пединститутков), часы просиживал в библиотеках

и архивах (Университет приучил). Будущая Звезда, прочитав пьесу Ковригина о Марине Мнишек, зафыркала – кому нужна теперь гордая полячка, а влюбленного в неё автора объявила бездарью. Крах, конфуз и печальный конец драматургических опусов. Марина же Мнишек, в пьесе будто бы осветленная, тогда, естественно, опять совместилась в сознании Ковригина с силами, удач не приносящими... Кстати, совсем недавно Звезда «в своих возрастах» сыграла Марину Мнишек в прошумевшей постановке «Бориса Годунова» и, как писали, замечательно и страстно сыграла (что-то, а страсти она всегда играла умело). Но сыграла Марину, придуманную Александром Сергеевичем (гениально снабженная Мусоргским звуком меццо-сопрано, Марина и вовсе превратилась у Фонтана в Самборе в способную растерзать чужую страну светскую тигрицу). На самом же деле в Самборе (Ковригина заносило и в Самбор) Марина была пятнадцатилетняя девчонка, выросшая в европейских комфортах романтическая панночка, не ведавшая о том, что в интригах отца она разменный грош и, уж конечно, не представлявшая, что такое Московия с её снегами и грязями. Ныне Звезде тридцать пять, и сцене у Фонтана она стала соответствовать...

Самому же Ковригину захотелось сейчас отыскать свое простодушное и неуклюжее творение с диалогами и материалы, собранные им о Марине Мнишек в ту пору. Если они, конечно, сохранились в его московских бумагах.

Что же касается царевны Софьи, то ею Ковригин всерьёз не интересовался.

Материалов о Софье в коробке Дувакина было поменьше «Маринкиных». Да иные из них свидетельствовали и не о ней, а о её старшем брате Федоре Алексеевиче, самодержце всея Великие и Малые и Белые России, владевшим страной шесть лет и умершим двадцатиоднолетним, скорее всего от отравы. Прежде о нем было в ходу мнение как о больном и хилом царе. Теперь же его всё чаще называли человеком «тонкого ума» и реформатором, царствование же его – «потаённым». «Потаённым», надо считать, с помощью усердий учёных людей, возвеличивавших лишь деяния Петра Великого.

Было время: и из-за упрощений, и из-за угоды социальному заказу (или социальной моде?) незыблемым бронзовело представление, из какого исходило: всё у нас началось с Петра. Деяния Петра и впрямь великие, но услужливо-охочие популяризаторы часто «для наглядности» выделяли в них эффекты чуть ли не кинематографические. Или так. И в кино выходило, что Петр Алексеевич вздымал Россию на дыбы с помощью эффектов (опять же школьные впечатления отрока Ковригина). Вот старая Россия. Сплошные бороды. Над бородами – полусонные рожи дураков и лентяев. Под бородами – изношенные зипуны или исподние рубахи. Руки, опять же в волосах, чешут грудь – наверняка искусанную насекомыми. Вот Пётр стрижет бороды. Вот вся Россия побри-

та. Вот на облегченные головы натянуты парики, и глаза под ними поумнели, стали живыми, в них — желание нечто этакое полезное предпринять. Или сплясать на ассамблеях. Башки стрельцам поотрублены, и в сражения идут brave преобразенцы и семеновцы. Впрочем, повсюду остались злыдни и ретрограды, эти ждут не дождутся поворота к старому. И повсюду — классовая борьба. При ней и бандит Разин превращался в героя-освободителя. Ну, и так далее.

Несколько лет назад Ковригина попросили написать о музыке допетровских времен. Было ли что-либо в ту пору, кроме гуслей, дудок, сопелок, домр, рожков, хорового пения? Ковригин и так знал, что «это кроме» было. Однако подробности музыкальных увлечений просвещенных московских особ семнадцатого столетия Ковригина удивили. К тому времени музей Глинки из палат Троекурова в Охотном ряду, запертых чиновничьим забором с милицейскими будками (теперь это забор Думы), был вытеснен на тверские-ямские, там к архивным изысканиям Ковригин был допущен. Хороши по информации оказались первые тома «Истории русской музыки» со статьями Ю. В. Келдыша. Интересные попадались Ковригину и публикации. В частности, исследование В. Протопопова «Нотная библиотека царя Федора Алексеевича». «Список» с неё, кстати, был прислан теперь и Дувакиным. Брат Петра был ещё и композитором. А в московских каменных палатах имелись доставленные от известных мастеров инструменты, собраниями которых не обладали и бога-

тые меломаны в Лондоне или в Берлине. Не только имелись, но, понятно, и звучали. И не носили хозяева палат, важные деятели государства, бород, а были в курсе моднейших европейских новинок. В их числе и князь Василий Васильевич Голицын, первейший друг и советник царевны Софьи, оценить чью натуру и был призван теперь Ковригин.

Почитаем, почитаем, обещал себе Ковригин, и про Софью, и про Федора Алексеевича. И про Алексея Михайловича, о котором в школе Ковригину было втемяшено, что при нём во мраке российской жизни главным образом происходили бунты, то Соляной, то Медный, то всенародно-освободительный Стеньки Разина. Бунташный, мракобесный век... На самом же деле Россия тем временем деятельно и разумно подбиралась, пусть и не спеша, к решительному закреплению перемен в ней Петром Великим. Слова «почитаем» относились опять же к посылке Дувакина. Больше всего в ней было работ современного историка Андрея Богданова, среди них и книга – «В тени великого Петра». Пролистав их, Ковригин понял, что о Софье ему придется добывать знания в Москве. Станным образом Ковригин чувствовал себя виноватым перед Софьей и её временем. Года четыре назад при разборке жилого здания в Староваганьковском переулке возле Румянцевского дома были открыты палаты семнадцатого века, по убеждению историков, принадлежавшие Шакловитому, одному из близких Софье людей (в трагической ситуации она его предала, или хотя бы – «сдала»). Сохранить

палаты было нелегко, началась тяжба, Ковригин загорелся, намерен был лезть со знаменем на баррикады (полотно Де-лакруа!), но, как это случалось с ним не раз, остыл, увлекся другим занятием («и без меня защитников хватит!»), а потом услышал, что палаты Шакловитого снесли. Софья же наверняка бывала в них. Не исключено, что пробиралась туда из Кремля при свете факела подземным ходом. Как пробиралась на свидания и в палаты Василия Голицына в Охотном ряду (теперь на их месте – опять же Дума, вот ведь игры времен!)...

Соппротивление просьбам и уловкам Дувакина ворчал в Ковригине. Но он понимал, что ходит уже кругами вблизи дувакинской блесны. Произошедшее давно становилось необходимым Ковригину сейчас. Прошлого нет и нет будущего, полагал Ковригин. Они слиты в «сейчас». Есть только «сейчас». И есть волшебное свойство человека оживать душой исчезнувших давно людей и вступать в их жизнь. Нужда в этом всегда жила в Ковригине. Так было и в прежних случаях (с Колумбом, например, с Монтесумой и Кортесом в одном американском сюжете), а теперь – и с Рубенсом, Ковригину требовалось воображением чуть ли не поселяться в натурах своих персонажей, в их телах и даже в их костюмах. Это волновало его и доставляло ему, пожалуй, будто бы физическое удовольствие («Типа того», – сказала бы Лоренца). Ради понимания Марины Мнишек и царевны Софьи следовало «оживить» и их. Хотя, понятно, что и мыслями

очутиться в их телах вышло бы для Ковригина делом затруднительным. Но побыть вблизи них, отгадывая их чувства, мотивы их действий, физиологические особенности их натур, для Ковригина становилось теперь занятием-состоянием обязательным, это занятие уже увлекало его, вот он – да, он! – стараясь быть незамеченным и не услышанным, озираясь, кирпичным, обложенным белым камнем, ходом, передвигался сначала под Неглинкой, потом под мшистыми берегами её, а метрах в пятидесяти впереди при колеблющемся свете факела шла властная женщина, спешила из кремлевских покоев к кому-то из близких мужчин своих – Голицыну или Шакловитому, страсть и государственные дела гнали её...

«Всё! Остынь! Угомонись! – приказал себе Ковригин. – Ты уже начинаешь пропускать чернушки, они сливаются для тебя с корнями елей...»

Но он не мог отогнать мысль о том, что в названных Дувакиным именах и присланных книгах (а может, иные из них в коробку вложила Лоренца? Нет! Нет! Чур её!) отправлен ему знак. Отчего вдруг объединялись в одном заказе дочь сандомирского воеводы, ложно обозванная царицей Смуты, и неудачливая царевна Предпетровья, вынужденная, по московской легенде, наблюдать по ночам сквозь слюдяные оконца монастыря привидения князя Хованского и его сына с отрубленными головами в руках, по её велению погубленных? И драмы той и другой женщины расположились в одном ве-

ке... Что-то было в пожелании Дувакина, было! Предчувствие теребило теперь Ковригина, азарт исследователя разжигая в нём.

Секретец статьи о костяных пороховницах, учуянный Дувакиным, состоял вот в чем. С Лёхой Чибиковым Ковригин познакомился на Чукотке. После Горного института Чибиков геологом искал золото и прочие клады недр под Билибиным и Кадыкчаном. В его поисковую партию, естественно, подряжались бичи и уголовники, с некоторыми из них он сталкивался и теперь. В длинном корявом парне, в ватнике или тулупе, не наблюдалось ничего аристократического, манерами и способами выражений и он был похож на бича, тем не менее окликали его Графом. Чибиков и был графом. То есть сам Лёха графом себя не считал и по возвращении в Москву (нынче он сытно обитал в Газпроме) ни в какие дворянские собрания не записывался и не являлся. Но происходил он истинно из рода Чибиковых, предок его, знаменитый граф Чибиков, вёл войну с Пугачёвым, доверив доставку злодея в Москву молодому офицеру Суворову (что засвидетельствовано на известной картине Татьяны Назаренко, знакомой Ковригина). А Чибиковы были в родстве с Голицыными. Опять же Ковригин имел беседы с великим художником Илларионом Голицыным, нелепо погибшим, в частности и о фамильной реликвии петровских времен, парном портрете супругов Голицыных работы Матвеева. В семье Голицыных бытовали и не легенды вовсе, а достоверные предания

и сведения и о воеводе Ивана Грозного, поставившем крепость Свияжск, без которой могло бы и не состояться взятие Казани, и об образованнейшем князе Василии Васильевиче Голицыне (тому бы ещё и силу характера), а вместе с ним, понятно, и о царевне Софье...

Так вот. Выяснилось и стало известно Ковригину, что мать Лёхи Чибикова сберегала некий костяной предмет, которым интересовалась Оружейная палата. Эксперты были убеждены, что это работа нюрнбергских мастеров, современников Дюрера. Предмет не был ни продан, ни подарен. Остался в семье. Сейчас владела им старшая сестра Лехи Чибикова – Зинаида Михайловна Половцева. По убеждениям тех же экспертов, изделие германских косторезов попало в Россию давно, а не было завезено, скажем, в восемнадцатом веке и уж тем более в веке девятнадцатом. Стало быть, имело долгую московскую или даже московитскую историю и служило, пока неразгадано чем, но наверняка людям с интереснейшими судьбами. Завладеть условно названной костяной пороховницей Ковригин не собирался, такого и в мыслях его не могло возникнуть. Чужие вещи с чужой энергетикой были для него именно опасно-чужие. Принимать на себя обстоятельства жизни незнакомых ему людей с их радостями или страданиями Ковригин не желал. Упаси Боже! А потому не годился в коллекционеры.

Лёха Чибиков познакомил Ковригина с сестрой, Зинаидой Михайловной, и Ковригин подержал «костяшку» в ру-

ках. Другие фамильные реликвии не были ему открыты. Сестра Чибикова глядела на него с опаской, возможно, и Лёхе было выговорено неодобрение за допуск им в дом сомнительного изыскателя.

Ковригин, будто был приглашенный знаток и оценщик, вслух согласился с тем, что перед ними именно пороховница-натруска, хотя засомневался в смысле и предназначении исторической вещицы. Вид она имела небольшого рожка или, скажем, рогалика из слоновой кости, северороссийские же «рогалики» натруски были полыми моржовыми клыками. Сомнения Ковригина вызвали сюжеты рельефных фризов на боках чибиковской предполагаемой пороховницы. Чаще всего резчики создавали на натрусках сцены охотничьи, со зверями и зверушками – медведями, кабанами, зайцами, со всадниками, мчащимися за оленями, пешими удальцами, копьями протыкающими шкуры вепрей. Концы же рожков, наших, северорусских, обычно завершались острыми мордами морских чудовищ. Доводилось Ковригину видеть и другие сюжеты. На одном из боков эрмитажной натруски над четырьмя сердцами летал амур с известным луком, внизу же было выведено «Одного мне довольно». На «обороте», то есть на другом костяном боку, амур с сердцем удирал от гидры многоглавой, что подтверждалось надписью: «Никто у меня не отнимет!» Реликвия Чибиковых завершалась не морским чудищем, а довольно изящной фигуркой незлобного единорога. Ну, это понятно. Откуда в Нюрнберге знать о

моржах из ледовитых вод? А на боках реликвии Ковригин углядел сцены из рыцарского романа – дракон окаянный лапы с когтями протягивал к упавшей, видимо, в обморок красавице явно в европейском наряде, но к дракону уже спешил рыцарь, обнаживший меч (в пороховнице у него вряд ли была нужда). Вдали виделся замок на скале, а у бокового ребра декоративными клеймами были вырезаны маскароны с завитками листьев. Под фризами имелись надписи, разобрать их как следует Ковригин не смог, явился в гости без лупы. И всё же он обнаружил в трёх местах реликвии слова и знаки, выцарапанные явно не рукой первоначального мастера, то ли чьи-то инициалы, то ли пометы, будто бы на полях читанной заинтересованным человеком рукописи. Ковригин взволновался, погладил пальцами рыцаря с мечом и произнес:

– Надо бы показать знакомым палеографам... Или графологам... Тут явно разные годы и разные люди...

Слова его вызвали резкие действия Зинаиды Михайловны. Она подскочила к Ковригину, вырвала из его рук костяной предмет, заговорила нервно:

– Никому не положено ни рассматривать, ни выносить из нашего дома! И Алексей это прекрасно знает. Но для него смешны семейные традиции и предания. Ему достаточно в жизни веселий, бродячества в диких местах и забав с аквалангами и водяными досками.

Высказав это, Зинаида Михайловна удалилась из комнаты и более в ней не появлялась.

Ковригин сидел растерянный. И Лёха Чибилов, похоже, растерялся.

— А с какими такими преданиями связана эта вещичка? — спросил, наконец, Ковригин.

— С какими-то бабскими историями! — махнул рукой Чибилов. — Всерьез ко всему этому относиться не стоит. Если выпрошу что-нибудь ненароком, расскажу. Но наверняка какая-нибудь напудренная ерунда!

Но Ковригин был уже уверен, что это вовсе не ерунда и что с рыцарскими сюжетами на костяных боках связаны истории женщины, а может, и не одной женщины, и истории эти вряд ли веселые.

Однако ему-то они зачем?

Кто бы знал...

Другое дело, что он напрасно притягивает теперь к костяной якобы пороховнице из частного собрания заказы Пети Дувакина и журнала «Под руку с Клио». Тем более что уговорил себя терпеливо ожидать откликов (хотя бы одного) на публикацию статьи об особенном направлении в искусстве косторезов, вдруг и впрямь возникнет подсказка, клубок серых ниток станет разматываться и потащит его, Ковригина, к совершенно непредвиденной им ситуации... А тут на тебе! Сразу — будто бы знак и посыл интуиции к заманным именам, к царице и царевне московским, мол, верь знакам и интуиции, и не плохо бы, чтобы две женщины, для управления государством — преждевременные, а потому и обреченные,

каким-либо чудом оказались в одной событийной цепи. Тут, милостивый государь Александр Андреевич Ковригин, скорее всего, возникли бы банальности и упрощения, а вы их вроде бы ох как не любите...

И в том, что экстрим-дама Лоренца Козимовна, она же Лариса Кузьевна, с бабушкой – Кузькиной матерью, курьер с толстой сумкой на ремне, называла мельком, но как бы и со значением, среди общих с Ковригиным знакомых Лёху Чибикова, не следовало искать особого смысла. А почему бы ей и вправду не быть знакомой графа Чибикова с Большой Дмитровки?

И всё же Ковригин никак не мог избавиться от убеждения, вполне возможно – неразумно-прилипшего, в том, что костяная реликвия семьи Чибиковых (а явно имелись и другие реликвии) непременно была связана с судьбами именно женщин, неважно каких и неважно каких фамилий. Очень может быть, поначалу она и впрямь служила пороховницей, порох в ней не подмокал, и его было удобно из её рожка ссыпать, стряхивать, трусить охотникам, какие потом пировали под сводами замков, разрывая руками (как в костюмных фильмах) мясо кабанов и косуль, только что снятых с раскаленных вертелов. Но добывали дичь ведь и знатные охотницы, и они обзаводились пороховницами. При мыслях об этом Ковригин жалел о своем приблизительном знании огнестрельного оружия (при каких именно «стволах» и были нужны пороховницы и когда в них отпала нужда?), давал

себе слово заглянуть в серьезные монографии, но пока не случилось повода заглянуть. А позже, и это Ковригину было известно точно, ценящие себя дамы появлялись на светских развлечениях, украсив свои костюмы пороховницами на подвесках (или ещё на что там? надо выяснить) – и модно, и подтверждалась репутация прекрасной амазонки. У Софьи, предположим, в её теремной жизни, но выходит, что и тюремной, – а ведь вне Кремля имела и просторные и прекрасные дворцы на Воробьевых горах и в Измайлове, – таких развлечений не было, но на свидания-то с тем же Голицыным (безбородым, безбородым! Именно со своим просвещенным братом Федором Алексеевичем Софья вводила линейные ноты, допускала европейское платье, но что ей самой дала реформа одежды?) могла прийти и с украшениями (опять – Софья в мыслях! Опять – банальность!). Естественно, в костяных рожках была возможность вместо пороха уместить и пудру, например, или ещё что-то от тогдашних Роше, и блошинные ловушки, и мушки для любовных сигналов и игр, и, уж конечно, нюхательный табак для изведения дурных ароматов на душных балах. Или укрывать в них лирические записки или какие-либо орудия страстей и интриг. Пороховницы...

Показать бы надписи на боках чибииковской (а может, и голицынской) реликвии и процарапанные (резцом ли или ещё чем) инициалы (?) и пометы палеографам... Каким макаром? Если только уговорить Лёху Чибиикова снять хотя бы и сотовым телефоном бока и ребро реликвии, да и незлобного единорога. Но Лёха – человек своенравный, ему ничего не стоит и заартачиться...

В ельнике вблизи Ковригина возникла компания грибников с собакой. Собака лаем сейчас же вернула Ковригина с Петровских ассамблей или с Польского акта царской оперы Михаила Ивановича Глинки к суглинкам урочища Зыкеево. У Ковригина спросили, не пошли ли осенние опять. Нет, отвечал Ковригин, опят он не видел, да и откуда им быть при таких-то теплых ночах. К тому же в ельнике осенних опят бывает мало, это место летних, рыжих опят, говорушек, а за осенними ходят за овраг на вырубке в дубняках и липах.

За овраг компания и унесла собачий лай.

Ковригин за овраг не отправился – и грибов он уже набрал, и вспомнил, как на днях провалился в овраге в неведомо откуда взявшуюся яму с поломанными досками в ней и чудом не повредил ноги. К тому же его напугал пронесшийся мимо него человек. Напугал, правда, не надолго, но вынудил остановиться и застыть в недоумении. Скорее это был и не

человек, а существо, похожее на человека. Грибы прохожий (пробежавший) явно не имел в виду, не было при нём ни корзины, ни пакета, ни ведерка. Почти голый, мускулистый, звероподобный, он снабдил себя лишь набедренным одеянием из меха, возможно, волчьего. Лобастая голова его была в жестких мелких кудряшках, будто бы от горных баранов. Поначалу Ковригин подумал, потому и напугался на мгновение, что это клиент сумасшедшего дома в Троицком, одолевший бетонные стены и пустившийся в бег. Но потом – спина бегуна была уже метрах в тридцати от Ковригина – он сообразил, что ноги существа – в рыжей шерсти, а копыта у него – козлиные. Козлоногий... Пан, что ли? Фавн? Сатир? Силен? И стало быть, испуг его был и не испуг, а, как и предполагается, – страх панический? Ковригин рассмеялся. Откуда здесь Паны или Силены? Но сейчас же подумал, что смеяться нечему. Ему стало казаться, что в левой руке лохматого бегуна он увидел свирель, возможно, и двойную. Не из тела ли несчастно-влюблённой нимфы Свириинги сотворённую? Фу ты! Какая бредятина лезет в голову... Но прежде, чем скрыться в ореховых зарослях, существо обернулось, пригрозило Ковригину волосатым пальцем и выругалось матом.

И это Ковригина успокоило.

Конечно, – беглец из Троицкого дурдома, псих на сексуальной почве, начитанный, знакомый с античной мифологией, возомнивший себя Паном, хорошо хоть не Приапом, а энергетика у психов такая, что возможны метаморфозы с их

обликами и костюмами, посчитал бы себя Наполеоном, пронесся бы сейчас мимо Ковригина в треуголке, с барабаном и подозрной трубой...

К возвращению в реалии повседневной жизни Ковригина призывало и верещание телефона. Напоминала о себе сестра, Антонина. Было объявлено. Прибудет она в субботу, но не в обед, а утром. Детишки её вынуждены по школьной программе автобусами отправиться в Большие Вязёмы на поклон к Сашеньке Пушкину («Оно и к лучшему», – пришло в голову Ковригину). Но прибудет она не одна. Тут возникла пауза. Далее не последовало разъяснения, кто же будет спутником Антонины, – хахаль ли её какой, или серьёзный ухажер, либо – приятельница, эта, не исключалось, с прищуром глаз на него, Ковригина, непристроенного холостяка. Антонина лишь выразила братцу надежду на то, что всё на даче будет в чистоте и порядке и он не расстроит её каким-либо бардаком. Сказала, что перезвонит завтра, а он пусть подготовит список заказов, что ей надо купить ему из провизии и напитков.

Ковригин, ещё выходя в лес, наметил себе вечером пересмотреть свои бумаги, связанные с Рубенсом. И если даже обнаружатся какие-либо следы интересов или усердий Лоренцы, не вскрикивать и бумаги эти не рвать. Но, как всегда, занятия с грибами (на ночь в холодильник грибы в семье никогда не убрали, готовить их «только что из леса» было законом) и в особенности тушение картошки с зелены-

ми сыроежками и сметаной удержало его на кухне до темноты. Он почувствовал, что устал. Ко всему прочему он объелся. Три полных тарелки горячего блюда было без задержек отправлено в чрево толкователя судьбы дипломата и разведчика Пауля Рубенса и его полнотелых красавиц. Ковригин подавил в себе икоту способом пловчихи кролем. Но зевать не перестал.

Уже под одеялом (но на террасе) вспомнил о своём сообщении в ельнике. Детишки не приедут. «Оно и к лучшему...» Почему он так подумал?

А потому, что детишки не станут свидетелями или даже участниками какой-либо странности.

Какой странности?

А неизвестно какой!

Две или три странности здесь уже случились в последние дни.

Или даже четыре.

Какая же четвертая-то?

А бегун-то этот лохматый в ельнике со свирелью в руке и козлоногий? Может, он и не такой уж псих. Ну, выругался матом – и что? Раз даже негру преклонных годов было рекомендовано пролетарским поэтом выучить русский язык, то почему бы и хитрозадому эллину по необходимости жизни не освоить деликатнообязательные выражения лесов, полей и пастбищ среднерусской равнины? Тем более вблизи обитания страшного Зыкея...

Такие вот соображения посетили в зевотные минуты Ковригина.

А вот, подумал он, ухажёр Антонины или её незваная приятельница, из привычных либо новейшая, это – пожалуйста. Этим странности, по рассуждениям Ковригина, не помешали бы. Экий он был заранее кровожадный!

Но опять вместо ожидаемых Ковригиным грибов в его предсонной дремоте возникли лягушки, их были сотни, они ползли, ползли, прыгали, карабкались, но теперь и пели, явно пели и, видимо, по-аристофановски в переводе А. В. Пиотровского: «Брекекекс, коакс, коакс! В час дождливый в глубинах водной блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. Брекекекс, коакс, коакс!»

«Чур меня! Чур меня! – пробормотал Ковригин. – Это я объелся...» И повернулся на правый бок.

Утренний просмотр (на голодный желудок! на голодный!) бумаг и материалов, связанных с написанием им эссе о Пауле Рубенсе, то есть якобы простодушно-обывательским рассмотрением обстоятельств жизни великого художника с упрятанными в видимых смыслах восклицаниями типа: «Надо же!», «А мне и в голову не могло такое прийти!», Ковригина отчасти успокоил.

Многое он успел сделать. Если не всё.

Застрял со второй частью эссе, это да. По лености (считал себя неисправимым и бесстыжим лентяем). И из-за досады на Дувакина. Что он будет спешить с Рубенсом, коли случился затор с пороховницами, и Петр Дмитриевич неизвестно как теперь к нему относится. В искусстве и литературе бытовало понятие, не Ковригиным придуманное, – «нерожденное дитя». У раннего Павла Кузнецова этих нерожденных дитятей хватало. Для Ковригина понятие это существовало в ином, можно было даже признать, – ремесленном смысле. «Нерождёнными детьми» были для Ковригина его неопубликованные работы. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри Ковригина, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений. Ковригин мог только предположить, как тягостно было жить литераторам или, скажем, композиторам середины и конца двадцато-

го столетия, чьи опусы лежали в столах, терпели, перенося родовые схватки, без надежды попасть под опеку доброжелательных акушеров.

Теперь Ковригин снова обзывал себя лентяем, безответственным нытиком, в оправдание себе вспомнившим теорию о «нерожденных дитятах» и губительных родовых схватках, нынче вызванных якобы произволом субъективиста Дувакина. Стоило ли ныть-то? Сочинение его о Рубенсе было уже сотворено. В разговоре («лекции») с Лоренцой, обозвавшей его халтурщиком, он держал его в голове целиком – ощутил это! Больше половины его шариковой ручкой было выведено на бумажных листах, другая, меньшая часть, обрывками записанная на клочках разных цветов, варилась в голове Ковригина и, пожалуй, дошла до степени готовности, блюдо вот-вот, с пылу с жару, следовало подавать на стол. Не стал подавать. Пусть он, Дувакин, напомним и попросит. Попросил бы, тогда Ковригин за день-за два свел бы всё уже написанное – лохмотья на обрывках, мысли и образы в голове – в единый текст, выправил бы его и преподнес бы приятелю и мучителю (хотя каждый издатель и вынужден быть мучителем) Петру Дмитриевичу. Но проявил фанаберию.

Однако какой текст получил Дувакин? Если он вообще его получил...

День назад, если помните, Ковригин, как порядочный литератор, пекущийся о собственной чести, чутьчуть успокоившись, намерен был (пусть и не слишком решительно) пе-

резвонить Дувакину и объявить, что никакого эссе о Рубенсе он ещё не написал, а текст в журнал попал самозванный и его надо подвергнуть остракизму (эко завернул бы!).

Не позвонил...

И теперь он заробел снова. Дувакин якобы намеревался обсудить с ним темы, связанные с Мариной Мнишек и Софьей Алексеевной. Но не обсудил, звонков не произвел. А вдруг он и никаких книг Ковригину не присылал, и не было никакой курьерши, и никакие соображения о Рубенсе московского обывателя Дувакина не порадовали, а всё это входило в «Брекекекс, коакс, коакс», в лопающиеся пузырьки, ставшие следами проворных плясок часа дождливого в глубинах водной, и прочие влажные странности Урочища Зыкеево?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.